

Г 62 $\frac{I}{148}$

Б И Б Л И О Т Е К А
О В О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы

АХИЛЛ ТАТИЙ
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

ЛЕВКИППА
И
КЛИТОФОНТ

“ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА”
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МСМХХV

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ГРЕЦИЯ

Ахилл Татий Александрийский

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1925

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

7
762/148
X
АХИЛЛ ТАТИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

1034.

ЛЕВКИППА И КЛИТОФОНТ

ПЕРЕВОД А. Б. Д. Е. М.

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Б. Л. БОГАЕВСКОГО
СО ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ А. В. БОЛДЫРЕВА

МОСКВА МСМХХV

ПРЕДИСЛОВИЕ



Гиз. № 7528. Ленинградский Гублит № 1209. Тир. 3000 экз. 12 п. л.

Типо-Литография „Красный Печатник“. Ленинград. Международн., 75.

АХИЛЛ ТАТИЙ И ЕГО РОМАН

1

Греческий роман является одной из наименее исследованных областей греческой литературы. Целый ряд вопросов, встающих в связи с изучением его, еще не получил окончательного ответа. Нет возможности пока сколько-нибудь точно установить хронологию отдельных романов; о многих из их авторов мы знаем только то, что передают скудные и ненадежные заметки византийских лексикографов, а в иных случаях и того меньше; генезис романа до настоящего времени не объяснен с исчерпывающей полнотой; чрезвычайно мало освещены вопросы поэтической техники — здесь едва сделаны первые шаги.

Но прежде всего нуждается в пояснении самый термин: греческий роман. Надо сказать, что роман — единственный род литературы, для обозначения которого мы в настоящее время пользуемся не античным термином, а термином позднейшего происхождения, и это обстоятельство не случайно. Это не значит, что греческая литература не знала таких произведений; но все то, что мы теперь называем романом, у греков причислялось не к одному какому-нибудь, а к нескольким родам литературных произведений — к истории, жизнеописанию, сатире и др. Каждый из этих родов (*genê*) имел свою собственную, многовековую историю, отличался известными стилистическими признаками, определявшими его внутреннее единство, и представлял собою более или менее замкнутое целое, которое и должно быть рассматриваемо как таковое; вырывание же из этих „*genê*“ отдельных произведений, непонятных вне той традиции, под влиянием которой они создавались, и объединение их под новой рубрикой „романа“ было бы делом совершенно неправильным. В настоящее время еще преждевременно было бы пытаться дать полную историю античного романа; можно лишь говорить о различных разновидностях его: о греческом историческом романе, примером которого могло бы служить „Воспитание Кира“ афинянина Ксенофонта, о философском романе — „Жизнь Аполлония Тианского“ Филострата, о комическом романе нравов — сохранные нам варианты романа об осле и роман

Петрония. При этом, однако, нельзя забывать, что каждый из них многими нитями связан с другими произведениями того рода литературы, к которому он, по античным представлениям, принадлежал, — произведениями, которые совсем не подходят под то, что мы называем романом.

Наконец, можно, говоря о романе в Греции, ограничиться разбором одной группы литературных произведений, стоящих совершенно особняком и обнаруживающих столь несомненные черты сходства, что они бросаются в глаза при самом поверхностном чтении. Это повествовательные прозаические произведения, которым в античной и византийской теории литературы присвоено было название: *drâma*, *drâmatikon* или *logoi erôtikoi*, и которые теперь именуются обычно софистическими любовными романами. В дальнейшем, говоря о романе просто, я буду иметь в виду именно их; такая терминология довольно обычна в настоящее время. Софистические любовные романы являются тою областью, где удалось достигнуть хотя бы относительной ясности, в то время как по отношению к другим упомянутым выше разновидностям того, что мы теперь называем античным романом, еще слишком много спорного и нерешенного.

2

После египетских находок последних десятилетий можно с большой долей вероятности установить следующий хронологический порядок известных нам софистических любовных романов. Я следую при этом делению на группы, предложенному В. Шмидом¹⁾.

I. Ранний период.

1) Орывки романов, найденные среди папирусов:

а) Роман о царевиче Нине — написан не позднее 100 г. нашей эры, может быть даже в I в. до начала нашей эры.

б) Роман о принцессе Хионе — не позднее II в. до начала нашей эры.

в) Роман о Метиихе и Парфенопе — не позднее II в. до начала нашей эры.

г) Роман без имени героев — не позднее II в. до начала нашей эры.

2) Роман Харитона из Афродисии, „Хэрей и Калироя“, в 8 книгах, написан не позднее II в. нашей эры, вероятно, даже в I в.

Русские переводы: СПб. 1763 г., 2-е изд. в 1766 г.; Калуга 1793 г.

3) „Ефесская повесть“ Ксенофонта Ефесского, в 5 книгах, по всей вероятности представляющая собою лишь извлечение из более обширного подлинника — датируется обычно II в.

¹⁾ См. W. Schmid, Der griechische Roman, Neue Jahrb., XIII (1904), 465 сл.

Есть русский перевод, вышедший в 1793 г. в Москве.

4) Предполагаемый греческий оригинал романа об Аполлонии Тирском, сохранившегося в латинской переработке.

5) „Невероятные приключения по ту сторону Фулы“ Антония Диогена; сохранился пересказ, сделанный патриархом Фотием (IX в.); роман предположительно датируется II в.

II. Поздний период.

1) „*Drâmatikon*“ Ямвлиха („Вавилонская повесть“). Этот роман известен по пересказу Фотия и ряду цитат; возник, вероятно, во II в.

2) „Дафнис и Хлоя“ Лонга — один из наиболее трудно датируемых романов; написан, вероятно, около 200 г.¹⁾

Русский перевод Мережковского, СПб. 1896 г.

3) „Эфиопская повесть“ Гелиодора из Эмезы — III в. Русский перевод: СПб. 1769 г.

4) „Левкиппа и Клитофонт“ Ахилла Татия из Александрии — не позднее 300 г. На русский язык никогда переведен не был.

В этот список не вошли византийские романы Евстафия (Евмафия), Феодора Продрома и др.

Точная датировка всех перечисленных романов очень затруднительна при тех материалах, которыми мы располагаем в настоящее время; указания византийских писателей дают очень мало; известий современников не сохранилось; лишь папирусы в некоторых случаях дают *terminum ante quem*. Можно предполагать, что даже имена авторов иногда вымышлены.

Романы, отнесенные ко второй группе, характеризуются ясно выраженным влиянием того расцвета риторики, который известен под названием второй софистики; помимо этого признака, относящегося к их языку, они обнаруживают некоторые композиционные особенности, отличающие более развитую композиционную технику²⁾. Но все романы, и ранние, и поздние (за исключением, быть может, романа Антония Диогена, занимающего особое место), обнаруживают много общих черт и прежде всего — единство основной темы. Юноша и девушка, отличающиеся необыкновенной красотой, случайно встретившись, с первого взгляда влюбляются друг в друга; оторванные один от другого ходом событий, они испытывают множество разнообразных приключений; перед читателем проходят прохищения, нападения разбойников, кораблекрушения,

¹⁾ См. v. Wilamowitz, Kultur der Gegenwart, I, 8, 185.

²⁾ См. O. Schissel von Fleschenberg, Technik der Romanschlüsse im griechischen Liebesroman, Wiener Studien, XXX (1908), 231.

войны. Красота главных действующих лиц является основной причиной постигающих их бедствий; большую роль играют оракулы, вещие сны. Каждую минуту смерть витает над головами влюбленных; иногда они умирают в середине романа, но эта смерть оказывается мнимой; их собираются принести в жертву, предать казни, но какая-нибудь удивительная случайность или вмешательство сверхъестественной силы спасает их. Наконец, в последней части романа все устранивается ко всеобщему благополучию, и влюбленные соединяются, чтобы остаток жизни проводить в счастье и удовольствиях.

Действующие лица романов в подавляющем большинстве случаев вымышлены. Только в наиболее ранних романах появляются исторические персонажи (ассирийский царевич Нин, в папирусном отрывке романа; сиракузский полководец Гермократ, персидский царь и его сатрапы, у Харитона).

Наконец, для большинства романов характерен также, по выражению Роде, „воздушный и пустой идеализм“, оторванность от какой-либо определенной эпохи, отсутствие местного колорита, очень малая роль бытового элемента, и это обстоятельство резко отличает их от комического романа нравов.

Со второй половины прошлого века замечается подъем интереса к греческому роману, дотоле остававшемуся в тени. Со времени появления классического труда Э. Роде „Der griechische Roman und seine Vorläufer“, Leipzig, 1876 (2-е изд. 1900), где был с большой ясностью поставлен вопрос о генезисе романа и сделана попытка дать ответ на него, начинается длинный ряд работ, носящих (кроме книги Э. Шварца)¹⁾ характер исследования частных вопросов и дополняющих или оспаривающих положения книги Роде. До сего времени приходится при всяком обращении к роману исходить из этого сочинения, хотя отдельные выводы его сильно поколеблены новыми находками папирусов и исследованиями других ученых.

Роде в самом начале своей книги пытается установить существенные отличия позднейших романов от новеллы, которая богато представлена в греческой литературе классического периода, — отличия, не позволяющие выводить любовный роман из новеллы или собрания новелл. Определяя новеллу, как изображение какого-нибудь замечательного взаимоотношения людей, показанного на каком-либо особенно ясном примере (стр. 6), Роде не отрицает новеллистического характера греческих романов. Однако, решающим признаком является для него тот „мощный и непринужденный реализм“ (стр. 7), столь несвойственный поздним романам, который

¹⁾ См. E. Schwartz, Fünf Vorträge über den griechischen Roman, Berlin 1896.

позволяет Роде сближать новеллу с новой комедией, не допуская вместе с тем возможности влияния последней на развитие греческого романа (стр. 8). Категорически отрицая внутреннее сродство между романом и новеллой, он ищет истоков романа в других областях греческой литературы.

Роде исходит из того, что главной задачей авторов романов было изображение любви, и этот элемент романа может быть понят лишь в связи с историей греческой любовной поэзии, т. е. прежде всего с поэзией эллинистического периода, когда любовные темы, стоявшие на втором плане в классическую эпоху, широким потоком ворвались в греческую литературу. Не покидая рамок старых мифов, александрийские поэты вносили в древние легенды новые черты, и в их обработке старые мотивы становились совершенно неузнаваемыми. Буйный и неукротимый Ахилл делается нежным любовником; в отношении Париса к нимфе Эноне вносится утонченный психологизм; в похождения Одиссея влетаются новые и новые любовные истории. На все лады разрабатывается изображение любовных страданий; возникает та наука любви, систематизатором которой для нас является Овидий, как и вообще при восстановлении александрийской поэзии, представляющей собою, по выражению одного немецкого ученого, огромное поле развалин, зачастую приходится обращаться к римским поэтам. Интересным посредствующим звеном между поздним александринизмом и романами является маленький прозаический сборник Парфения (I в. до начала нашей эры) „О любовных страданиях“, посвященный его другу и покровителю, римскому вельможе и поэту Корнелию Галлу.

Сходство между романами и эллинистической любовной поэзией не ограничивается общностью основной темы; важнее несомненная преемственность приемов и мотивов, преемственность повествовательной техники. Роде указывает на главные моменты сходства: первая встреча юноши и девушки во время торжественных праздников, надменное целомудрие юноши до встречи его с героиней романа; описание красоты главных действующих лиц и того впечатления, которое она производит на окружающих; изображение внезапно вспыхивающей страсти, любовных страданий, переживаемых, как страшная и неизлечимая болезнь; первые, затрудненные обстоятельства, встречи влюбленных; питье из одной чаши, язык знаков, любовные песни — все это одинаково часто встречается и в эллинистическо-римской поэзии, и в любовных романах. Параллельно с общим ходом развития греческой литературы, где проза постепенно вытесняет поэзию, эти темы получают словесное облачение иного рода; на смену любовной элегии идет роман.

Настоящий любовный роман в том виде, как мы его находим впоследствии, появился, однако, по мнению Роде, только тогда, когда вся сово-

купность приемов, распространенных в эллинистической любовной поэзии, соединилась с географическим романом (Reise-Roman). Географический роман, начала которого восходят к Одиссее, в эллинистическую эпоху получил определенный уклон в сторону философской утопии и часто служил лишь формой для выражения социальных и религиозно-философских взглядов авторов. На ряду с этим существовала, однако, категория произведений, лишенных такой тенденции и притягивавших читателей исключительно очарованием фантастического вымысла. Роде выставил предположение, что любовный роман появился благодаря механическому внесению любовной основной темы в готовые рамки географического романа, и считал книгу Антония Диогена одним из самых ранних произведений этого рода, в котором особенно ясно видны обе, еще не вполне сросшиеся, основные части. В дальнейшем ходе развития романа любовный элемент получал все большее и большее значение, постепенно выдвигаясь на первый план, пока в романе Харитона не достиг своего высшего развития. Эта часть построения Роде сильно поколеблена в настоящее время. Элемент путешествия и описаний чудес природы имеет в любовных романах совсем иное значение, нежели в романах географических¹⁾. Роман Харитона нельзя помещать в конце развития любовных романов; формула: «чем меньше эротика, чем богаче представлен элемент географический, тем роман древнее» — должна отпасть, и произведение Антония Диогена не играет той роли, которую приписывает ему Роде.

С другой стороны, все большее значение приписывается теперь третьему элементу любовного романа, отмеченному Роде, а именно элементу риторическому. Известно то колоссальное влияние, которое риторика на всем протяжении античной литературы оказывала на все решительно роды литературных произведений. Это влияние, недооцененное в прошлое время, все больше и больше выдвигается современными исследователями, и в истории романа риторика, повидимому, была той стихией, из которой вышел роман. Наиболее ранние образцы романа, сохранные в обрывках папирусов, симметричным расположением действующих лиц, обилием речей с применением всех правил школьной риторики, указывают с большой ясностью на то, где именно надо искать прародителей позднейших произведений этого типа.

В программу риторического обучения входило развитие способности рассказывать связно и наглядно о каких-либо событиях, находившей себе непосредственное применение в юридической практике, поскольку в судебных речах полагалось давать изложение обстоятельств дела; но

¹⁾ См. R. Heinze, Petron und der griechische Roman, Hermes, XXXIV (1899), 308 сл.

естественно, что при этом обучении брались случаи не только из судебной практики, а и вообще яркие и необыкновенные происшествия, дававшие оратору возможность показать себя. По известным нам темам риторических упражнений — *progymnasmata* — можно судить о том, какие предметы излагались таким образом. Тут можно наметить два вида рассказов, во-первых — предназначенные для судебных речей, и во-вторых — независимые от них. Вторая группа распадается в свою очередь на 1) *mythikon diégēma* — изложение мифов, 2) *historikon diégēma* — повествование об исторических событиях и 3) *dramatikon diégēma* — повествование о событиях вымышленных, при чем название *dramatikon* объясняют тем, что здесь широко применялись некоторые наиболее действенные приемы сценического представления, прежде всего, перипетия и узнавание¹⁾. Прежде думали, что совпадение названия этих упражнений с обозначением романов (см стр. 8) и самые темы их объясняются сознательным заимствованием у существующих литературных произведений; в настоящее же время склонны предполагать как раз обратное. Риторические упражнения послужили образцом и примером для авторов романов, — к такому результату приводит изучение отрывков наиболее ранних романов и сравнение их с древнейшими риторическими руководствами²⁾. Я приведу здесь только одно место из так называемой риторики *ad Herennium* (I в. до начала нашей эры), где дается краткое изложение тех требований, которые предъявляются к подобному риторическому рассказу (1, 8, 13):

„Этот род рассказа . . . должен заключать в себе: веселый тон повествования, несходные характеры, серьезность, легкомыслие, надежду, страх, подозрение, тоску, притворство, сострадание, разнообразие событий, перемену судьбы, неожиданное бедствие, внезапную радость, приятный исход событий“.

Вряд ли можно дать более исчерпывающее перечисление главных мотивов греческого романа. Особенно характерно соединение этих разнообразных, контрастирующих переживаний, в изображении которых должно было проявиться все искусство оратора. Правда, любовь, играющая в романе столь важную роль, прямо не упоминается, но обычно видят указание на этот мотив в слове „тоска“. Как бы то ни было, если сопоставить этот риторический рассказ со всем тем комплексом приемов, который был выработан александрийскими поэтами, и представить себе их соединение, мы и получим нечто чрезвычайно близкое к софистическому любовному роману. Свободный вымысел, несвязанность

¹⁾ W. Schmid, о. с. 472.

²⁾ W. Schmid, о. с. 482.

мифологической или исторической традицией — характерная черта поздних романов — были присущи и этим риторическим упражнениям; вместе с тем, поскольку в них широко применялись характерные для драмы приемы, устанавливается некоторая преемственность между техникой драмы и техникой романа, и в этом смысле можно сказать, что и роман происходит от драмы, но не по прямой, а по боковой линии. Конечно, это не препятствовало авторам романов в некоторых случаях непосредственно обращаться к этому источнику, и не только к трагедии и комедии, но также к миму, хотя это и носило более или менее случайный характер.

В своих лекциях по истории греческого романа Эдуард Шварц¹⁾ указывает на связь софистического любовного романа с античной историографией, считая, что поздняя риторика, втянувшая в себя и разложившая поэзию, оказала такое же влияние и на историческую художественную прозу²⁾. В подтверждение своего мнения он ссылается на патетический характер романов, на роль Судьбы (*Tuche*) и на появление исторических лиц в наиболее ранних романах. Но, с одной стороны, сближение с историей вряд ли может объяснить формальные особенности романа, а с другой, эллинистическая и вся последующая историография находилась все время под таким сильным воздействием риторической теории (знаменитое: *historia... opus... oratorium maxime*), что и в этом случае придется прийти к тому же первоисточнику — к риторике.

3

Какое же место занимает Ахилл Татий среди других романистов? Ответу на этот вопрос будут посвящены остальные главы этого введения. Прежде всего — когда он жил и кем был?

До последнего времени Татия относили обычно к очень позднему времени, к половине V века. Так как все сведения, которыми мы располагаем о нем, сводятся к краткой заметке Свиды³⁾ и нескольким отрывочным главам других лексикографов, для установления времени его жизни приходилось прибегать к сложным комбинациям. Устанавливали зависимость Татия от Мусэя, автора небольшой поэмы „Геро и Леандр“, в свою очередь зависевшего от Нонна, поэта начала V века; с другой стороны, доказывали, что Аристанет, живший около 500 г., автор сборника любовных посланий, многое заимствовал у Татия. Но уже в 1910 г. В. Леманн, в своей диссертации „*De Achillis Tatii aetate*“, показал, что зависимость Татия от Мусэя является мнимой, — мнение, уже раньше

¹⁾ См. выше, стр. 10.

²⁾ E. Schwartz, *о. с.* 146.

³⁾ См. „Примечания“ в конце книги.

высказывавшееся некоторыми исследователями. Леманн пришел к выводу, что Татий жил до 350 г., когда составлены были речи Фемистия, который, повидимому, пользовался Татием. Наконец, всякое сомнение уничтожил папирус, опубликованный в X томе Оксиринхских папирусов, содержащий довольно значительные отрывки из II книги „Левкиппы и Клитофонта“. Текст папируса написан в самом начале IV в.; таким образом, с большой долей вероятности можно сказать, что роман Татия написан не позднее 300 г. Из этого можно сделать некоторые выводы. Во-первых, Татий по времени своей жизни очень приближается к Гелиодору, становится почти его современником. Затем становится еще менее правдоподобным сообщение Свиды о том, что Татий в конце жизни стал епископом, — для III в. это еще менее вероятно, чем для V в.; к тому же это известие, повидимому, сделано по образцу аналогичных известий о Гелиодоре. Наконец, представляется некоторая возможность высказаться в защиту другого свидетельства Свиды, отвергаемого Роде, главным образом по соображениям хронологии. Дело в том, что Свидя приписывает автору романа о Левкиппе и Клитофонте, которого он, между прочим, называет Статием, ряд научных сочинений, а именно работы по этимологии, труд „о сфере“ и „смешанную историю“. С другой стороны, сохранились извлечения из сочинения о сфере, написанного астрономом Ахиллом (имени Татия ему никто не дает), жившим, как можно думать, в III веке. Против отождествления его с автором романа говорила прежняя датировка последнего, но теперь это соображение должно отпасть. Что же касается различий в стиле, на которые указывает Роде, то и это вряд ли может служить опровержением слов Свиды, так как стиль определялся не столько индивидуальностью автора, сколько родом литературы, к которому принадлежало данное сочинение.

В схолиях Фомы Магистра Татий именуется ритором; эта характеристика, верная сама по себе, не дает ничего, что бы не могло быть извлечено из рассмотрения самого романа.

Не совсем ясно одно место у Свиды, а именно то, что он говорит о других эротических сочинениях, якобы написанных Татием; можно думать, что речь идет о тех рассказах и повестях, которые вкраплены в роман, хотя нельзя не признать, что это толкование страдает некоторой натянутостью.

4

В языке романа Татия можно отметить два стиля, которые довольно заметно отличаются один от другого. Первый из этих стилей — стиль повествовательных частей романа — характеризуется стремлением к изысканной простоте — *arheleia*, по терминологии античной риторики. Фразы

короткие, конструкция их намеренно несложная; заметно стремление сохранить безыскусственность разговорной речи. Второй стиль появляется во всех ответственных частях романа, и здесь наблюдаются две разновидности его. В одних случаях это сжатый, конспективный стиль описаний действующих лиц, местностей и т. п.; здесь играет большую роль расстановка слов и ритмическая сторона. Такой стиль мы имеем в первых строках романа (I, 1): „Сидон — город на море, море — Ассирийское; мать финикиян этот город, народ — отец фиванцев“; в рассказе Клитопонта об его семье (I, 3): „Родом я из Финикии, Тир — мое отечество, отец мой — Гиппий“, и т. д., или в описании картин (III, 6): „Утесы для обоих — узилище, звери — палачи; у него — зверь крылатый, у нее — из пучины морской“. Будучи развернут, этот конспективный стиль дает тот цветистый, избыточный всеми риторическими прикрасами стиль, которым написаны взволнованные монологи, торжественные описания, глубоко мысленные рассуждения. Тут строго соблюдается параллелизм отдельных „колен“ (kola) предложения, появляются во множестве одинаковые окончания, иногда в очень причудливом сочетании, бесчисленные антитезы, эффектные образы. Примером могут служить хотя бы I, 6: „Ведь все, что до тех пор дремало, в то время пробуждается: у скорбящих — горести, у тревогами уязвленных — заботы, у переносящих опасности — страхи, у влюбленных — огонь“; II, 1: „Она (роза) — земли украшение, краса растений, жемчужина цветов, луга румянец, Эротом веет, Афродите лелеет, в благовонные лепестки одевается, в трепещущие листья наряжается, листья Зефиру улыбаются“; III, 16: „Ныне же останков твоих погребение для разбойников насыщение! О, гнусное шествие с факелами вокруг жертвенника! О, неслыханные таинства яств!“ и т. д.; IV, 19: „Такой посев несет равнина челюстей“. Иногда монологи переходят в настоящее причитание (I, 13, 14; V, 25 и сл.).

В таком словесном одеянии предстает перед читателем роман Татия. При переводе сразу же возник вопрос, следует ли раз навсегда отказаться от попыток сохранить все эти особенности подлинника, как то делали все прежние переводчики греческих романов на русский язык¹⁾, учитывая странное и необычайное впечатление, которое подобная „рифмованная“ проза должна производить на русское ухо, или же следует по мере сил сохранить это свойство романа и в русском переложении, вполне сознавая всю ответственность такой попытки. После краткого колебания избран был второй путь. Везде, где это представлялось возможным, одинаковые окончания (homoeoteleuta) и параллелизм отдельных колен сохранены.

¹⁾ Надо иметь в виду, что переводчики романов в XVIII веке переводили не с оригиналов, а с латинских и французских переводов.

Труднее обстояло дело с ритмикой романа. С этой стороны Татий пока очень мало изучен. Таким образом, перевод „размером подлинника“ оказывается пока весьма затруднительным. Все же и в этом сделана попытка приблизиться к оригиналу, при чем допускалась иногда несколько необычайная расстановка слов; наряду с этим использовано ритмическое средство, имевшее в русской прозе классической поры довольно широкое применение, а именно дактилические клаузулы.

Этой пестроте словесного облачения соответствует и необыкновенное многообразие заимствований, перепевов чужих мелодий, риторических мест, „торо“, — входящих в роман Татия. В этом новом сочетании они расцветают с новым блеском и образуют столь искусно сложенное целое, что лишь внимательное и напряженное всматривание позволяет различить и узнать составные части. К сожалению, далеко не для всех мест может быть установлена их родословная, — к сожалению потому, что, по основному принципу античной поэтики, данное место тем ценнее и интереснее, чем больше у него предков, — слишком мало нам сохранено памятников александрийской любовной поэзии, более ранних романов и других источников, откуда Татий черпал полную чашей. Все же во многих случаях его образцы могут быть указаны¹⁾. Так, в самом начале романа описание роши, где Клитопонт начинает свой рассказ, несомненно примыкает к платоновскому „Федру“; платоновские реминисценции слышны и в 36 главе II части, в рассуждениях о красоте небесной и красоте всенародной. Множество мест романа Татия очень близки к роману Гелиодора. Столь частые в романе описания (риторические ekphraseis) написаны в большинстве случаев на широко распространенные темы ораторских декламаций. Они воспринимались читателем, который обязательно был при этом декламатором или слушателем, — ибо необходимо помнить, что романы, подобно всем произведениям античной литературы, предназначались для чтения вслух, — как вариации давно знакомых мелодий воспринимаются любителем музыки, умеющим ценить самые незаметные оттенки новой трактовки старой темы.

Основные конструктивные элементы романа Татия немногочисленны и легко бросаются в глаза. Все произведение построено таким образом, что повествование беспрестанно приостанавливается и прерывается такими местами, в которых развертывается риторическая эрудиция автора. Чаще всего это речи, прием, восходящий к Гомеру и особенно свойственный античной историографии; особенно излюблены Татием монологи;

¹⁾ См. F. Wilhelm, Zu Achilles Tatius, Rhein. Mus. 57 (1902), где содержится множество указаний на предшественников Татия в трактовке эротических мотивов.

вероятно, здесь имеется некоторое влияние драмы (ср. VII, 2; VIII, 1: в подлиннике *tragōdōn* — трагически декламируя); иногда эти речи получают форму писем (V, 18; V, 21), — тоже очень распространенный вид риторических упражнений (ср. Овидиевы „Послания“). Затем, столь же часто появляются описания городов, удивительных сооружений, странных животных, чудес природы, произведений искусства и, наконец, описания прелести героини романа; эти описания интересны в том отношении, что автор возвращается к ним несколько раз, постоянно выдвигая одну черту — сладость ее поцелуев, прием, получивший потом такое широкое распространение. Особое место занимают описания картин, частые в литературе второй софистики, но не встречающиеся у других авторов романов, кроме Лонга¹⁾. Наконец, очень типичны для Татия рассуждения, которыми так богато уснащен его роман. И они тоже, вероятно, восходят к риторическим или театральным образцам; они встречаются и у Харитона, и у Гелиодора, но там играют сравнительно малую роль, тогда как у Татия иной раз занимают целую главу. Это один из примеров характерного для Татия усугубления традиционных приемов.

В первых двух главах первой части выступает сам автор, — ситуация такая же, как в романе Лонга: дается описание картины, у Татия развернутое гораздо шире, чем в „Дафнисе и Хлое“. У картины происходит встреча с Клитофонтом, и дальше, до самого конца, роман ведется в первом лице, в форме рассказа его главного героя. Такого обрамления мы не находим ни в одном из других любовных романов, — у Лонга рассказывает сам автор, — но оно очень напоминает манеру Платона, в его ранних диалогах; как и у Платона, обрамление остается не сомкнутым, в конце автор больше не появляется. Общее сходство обстановки начала романа с „Федром“ подтверждает это предположение. Впрочем, такой прием был, повидимому, каноническим для романа географического, насколько об этом можно судить по нашим источникам, и для комического романа нравов, как показывают оба сохранившиеся варианта романа об осле (псевдо-Лукиана и Апулея) и роман Петрония.

В начале романа действующие лица его выведены строго симметрично. Даны оба героя, у Клитофонта — отец, у Левкиппы — мать; и тот, и другая ставят препятствия к соединению влюбленных. Рядом с Клитофонтом поставлена его невеста Каллигона, рядом с Левкиппой — влюбленный в нее по насылке Каллисфен; впоследствии автор соединяет их

¹⁾ Очень возможно, что Татий описывает действительно существовавшие произведения живописи. Это признают: Matz, *De Philostratorum in describendis imaginibus fide*, Bonnæ 1867, стр. 12 сл., и W. Lehmann, *De Achillis Tatii ætate*, Vratislaviae 1910, стр. 44.

и тем удаляет одно из препятствий к счастью главных героев. Затем, при Клитофонте состоит его раб Сатир, при Левкиппе — рабыня Клио. Эта любовь к симметрии сказывается и во второй половине романа, когда вводится новая чета, Ферсандр и Мелита, судьбы которых переплетаются с судьбами главных героев, как о том будет сказано ниже. Наконец еще две фигуры, одна враждебная Клитофону и Левкиппе, другая же обоим им дружественная, это — Сосфен, управляющий Ферсандра, и Сострат, отец Левкиппы.

Симметрично построен также и конец романа. Запутанный судебный казус должен быть разрешен испытанием невинности Левкиппы и Мелиты. В обоих случаях прибегают к помощи богов. Сначала рассказываются мифы о Сиринге и Родопиде, затем следуют самые испытания, при чем второе, испытание Мелиты, является пародической параллелью к первому, и при изображении его использован старый сказочный мотив, повторяющийся в арабской и индийской литературе, у Страпаролы и в Тристане Готфрида Страсбургского¹⁾.

Совершенно особое положение занимает эпизод с Мелитой в V книге: он построен параллельно любви Клитофонта и Левкиппы и является как бы пародической инверсией основной темы; почти буквальное повторение отдельных ситуаций и выражений подчеркивает этот параллелизм. Отношение этого эпизода к главной теме видно из такой схемы:

Клитофонт домогается любви Левкиппы.	Мелита домогается любви Клитофонта.
Левкиппа считается мертвой.	Ферсандр считается мертвым.
Красота Левкиппы; сравнение с богиней (I, 4).	Красота Мелиты; сравнение с богиней (V, 11; V, 13).
Влюбленный Клитофонт за обедом; он ест, как во сне (I, 5).	Влюбленная Мелита за обедом; она ест, как на картине (V, 13).
Наслаждение созерцанием (I, 6).	Наслаждение созерцанием (V, 13).
Пища и созерцание любимой, (I, 6).	Рассуждение о любви и пище (V, 13).
Клитофонт уговаривает Левкиппу (II, 19; IV, 1).	Мелита уговаривает Клитофонта (V, 14 и дальше).

Параллелизм построения довершается тем, что внезапно появляются оба мнимых мертвеца, Левкиппа (V, 17) и Ферсандр (V, 23); уже после этого Мелита достигает своей цели.

¹⁾ Rohde, о. с. 484, 1.

Такое помещение в центре романа вводного эпизода, построенного симметрично основной теме, является чрезвычайно существенным для композиции всего произведения. Мне кажется, можно показать, что этот эпизод оказывается переломным пунктом всего романа и вводит приемы повествования, во многом отличные от приемов первой части.

В самом деле, не трудно подметить, что в архитектонике романа ясно намечаются две половины. В первых четырех частях и в первой половине пятой господствует одна основная тема — любовь Клитонфонта и Левкиппы. Действие развивается по прямой линии и разнообразится описаниями, вставными эпизодами и новеллами; приключения нанизываются одно за другим, появляются новые фигуры, которые, сыграв положенную им роль, бесследно исчезают; однако, в центре внимания все время остаются главные действующие лица. Но вот автором вводится новая чета, Ферсандр и Мелита, и с момента ее появления вместо единой до тех пор основной темы сложным и запутанным узором сплетаются несколько тем, развивающихся затем параллельно до самого конца романа: 1) любовь Клитонфонта и Левкиппы, 2) любовь Мелиты к Клитонфону, 3) месть Ферсандра Клитонфону, 4) любовь Ферсандра к Левкиппе. Все эти темы завязаны в узел сложного судебного процесса, где сначала Ферсандр обвиняет Клитонфонта и Мелиту в прелюбодеянии, затем Клитонфонт обвиняет Мелиту и себя самого в убийстве Левкиппы, которого на самом деле совсем и не было. Появление Сострата и Левкиппы как будто проясняет положение, но буйство Ферсандра вызывает новый процесс, пока, наконец, вмешательство сверхъестественных сил не приносит развязки. Вместо нанизанных одно за другим, но внутренне не связанных приключений первой половины романа, мы имеем во второй части искусное проведение очень сложной интриги, где события сцепляются так последовательно, что нельзя удалить ни одного звена, не разрывая цельности построения.

Соответственно такому делению романа различны и другие приемы Татия в обеих половинах его. При развитии единой основной темы первой половины естественно было разнообразить изложение вставными эпизодами и описаниями; и действительно, все описания картин, огромное большинство остальных описаний и вставных рассказов сосредоточены именно в первых четырех частях и в начале пятой; во второй же половине романа они почти отсутствуют (только в VIII части помещены два мифа, необходимых по ходу рассказа). В напряженной и запутанной интриге второй части подобные отступления были бы, конечно, неуместны.

Итак, в первой половине мы находим целый ряд, на первый взгляд, совершенно ненужных для экономики романа искусственно введенных

положений, которые и были, повидимому, причиной того, что роман Татия стяжал себе славу неумело и неуклюже построенного¹⁾.

На протяжении всего романа события мотивируются вмешательством судьбы; при такой нетвердой и гибкой мотивировке событий встает вопрос: какие же соображения заставляли Татия располагать приключения и вставные эпизоды тем или иным образом, вкраплять описания и рассуждения, вводить новые действующие лица? Мы видели уже, что существовала определенная схема приключений, которым подвергалась влюбленная чета, но эта схема не была чем-то застывшим и неподвижным. „Тиранически тяготеющий тип романа“, как его именует Роде, давал в конце концов лишь немногие вехи, сообразуясь с которыми автор должен был планировать свое произведение. Искусство Татия и сказывается в полной мере в умении его располагать готовый материал с таким расчетом, чтобы всякий раз достигать максимального эффекта и выставлять в наиболее ярком освещении изображаемые им трагические, трогательные или соблазнительные события. Группируя традиционные мотивы, разнообразя свое повествование вставными эпизодами, не имеющими, повидимому, никакой связи со всем остальным, Татий стремится к тому, чтобы создать неожиданный контраст к предыдущему или удобный переход к последующему. Если не все, то огромное большинство вставных эпизодов у Татия могут быть объяснены этими двумя соображениями.

Особенно характерной мне представляется первая часть, вся построенная на нарастании определенного настроения, усиленном резкими контрастами.

После краткого, деловитого описания Сидона следует подробное, с применением изысканнейших приемов риторики, описание картины — похищения Европы — как бы увертюра, где слышатся отдельные мотивы, которые потом снова возникнут в разных местах романа: густой, облитый солнцем сад, девушки, охваченные ужасом и радостью, море, красавица,

¹⁾ Интересно отметить некоторые из приемов, которыми пользуется Татий, когда вводит вставные рассказы. В первой части о гибели Харикла рассказывает вестник-раб, — прием, обычный в греческой драме (ср. рассказ о гибели Гипполита у Еврипида). Во второй части находим прием состязания сказками — беседе Сатира с Комаром, что позволяет вплестись в роман две эзоповских сказки. В той же книге, во время путешествия на корабле, Менелай рассказывает об убийстве отрока на охоте за вепрем (рассказ, вероятно, почерпнутый у Геродота, I, 36 сл.). Рассказы об удивительных явлениях природы и страшных животных в I и IV частях мотивированы желанием возбудить внимание девушки. Очень слабо мотивирован рассказ о чудесных видах (II, 14). Иногда рассказы ведутся от лица самого повествователя, как, напр., миф о даровании людям вина (II, 2) или рассказ о хитрости разбойников, прикрывшихся ветками (IV, 13, 14), который Роде сравнивает с известной сценой „Макбета“, видя в нем распространенный сказочный мотив (о. с. 484, 1).

похищаемая своим возлюбленным, Эрот, торжествующий победу. В этой картине в претворенном и конденсированном виде уже дана вся последующая история. Затем краткий диалог автора с неведомым юношей, идиллическая роща, и в этой обстановке начинаются долгие и неторопливые повествования о любви. Сначала рассказ идет, однако, в очень стремительном темпе; следует излюбленный Татием конспективный и сжатый перечень фактических сведений. затем завязка романа, — брачные планы отца Клитонфонта, — сменяющаяся характернейшим для Татия рассуждением о роке, сонных видениях и душевных переживаниях. Затем зловещий сон, первая тень, падающая на светлую дотле картину, письмо, которое по своей конструктивной роли напоминает письма в современных кинематографических драмах, и через несколько строк восторженное описание красоты Левкиппы и изображение мук уязвленного любовью несчастного Клитонфонта.

Дальше действие идет по прямой линии, непрерывно нарастая; в обычном стиле Татия сменяются описания, монологи, сентенции, когда с седьмой главы появляются новые лица, и линия рассказа резко изламывается. Появляются на сцене родственник Клитонфонта Клиний и угрожаемый нежеланным браком отрок Харикл; следует громовая инвектива Клиния против женщин, — еврипидовская реминисценция, изукрашенная всеми средствами Татиевой риторики, — и резким контрастом на протяжении ближайших глав развивается нескромная и глубокомысленная „наука любви“, переходящая во взволнованный монолог Клитонфонта.

Тут неожиданно вторгаются трагические ноты, рассказ раба-вестника о гибели Харикла и два параллельных надгробных плача, где Татий проявляет наибольший доступный ему трагический пафос. Здесь появляется опять контраст, быть может, самый разительный во всем романе, когда вопль над умершим обрывается, и действие сразу же переносится в совсем иной мир, в цветущий и сверкающий сад, — так Фауст из темницы Маргариты попадает „anmutige Gegend“ начала второй части. И тут развитие любовной темы, как будто оборвавшееся в предыдущих главах, идет прямо и последовательно через удивительные рассказы о могуществе Эрота, „царящего над землей, небом и водой“. Рассказ, постепенно нарастая, переходит от павлина к металлам, от финиковых пальм к влюбленным водам, и, после рассказа о мрачной любви ехидны и мурены, эта часть романа заканчивается новым описанием прелести Левкиппы, — отголоском первого, но обогащенного новыми красками, заимствованными у того сада, где происходит первая встреча героев романа. Это описание — вершина всей первой части; все остальное было только подготовкой и подходом к нему. Эпизод с Хариклом, не играющий в дальнейшем никакой роли, — о нем только раз мельком упоминают во второй части, — оказался чрезвычайно

искусно и целесообразно вставленным и прекрасно оттенил развитие основной темы.

В третьей части началом служит описание бури, эффектно примыкающее к диспуту о любви, которым заканчивается предыдущая часть. Затем спасшиеся оказываются на египетском берегу, — следует краткое описание статуи Зевса с мистическим гранатовым яблоком и двух картин, описание, предвещающее таинственные приключения, рассказанные в этой части. Читатель опять должен быть настроен на торжественный лад, чтобы должным образом воспринять потрясающую сцену заклания Левкиппы, горестный монолог Клитонфонта и его попытку покончить с собой. Но картина опять резко меняется, заклание оказывается театральным трюком. Опять раздаются мрачные ноты, — весть о гибели Клиния, предстоящее столкновение с врагом, — а пока третья часть пышно замыкается описанием Феникса.

Нет надобности разбирать подобным же образом другие части; эффектные контрасты Татия сами бросаются в глаза. Но не всегда таково конструктивное значение вставных эпизодов и описаний; в иных случаях их роль сводится к ретардирующему, замедляющему темп рассказа действию; таково же назначение многих развернутых рассуждений, которыми так богат роман. Примером могут служить описания, заполняющие собою 11 главу второй части, когда, после слов: „свадьба была назначена на следующий день“, идут сначала описание брачного наряда Каллигоны, а затем рассказ об открытии пурпура. Так же задерживает ход рассказа и описание египетского быка в 15 гл. второй части, и сказки, которыми обмениваются Сатир и Комар. Длинным ретардирующим отступлением являются и главы 11 — 14 четвертой части, очень слабо связанные с романом. Но, как сказано, описания и вставные рассказы содействуют и целям создания контраста; ретардирующим средством *par excellence* служат рассуждения, которые беспрестанно, на самом интересном месте, врываются в повествование: так, в VI части, как только Ферсандр в первый раз видит Левкиппу, он обращается к ней с вопросом, Левкиппа заливаясь слезами, и тут начинается очень длинное рассуждение о слезах. В VII части, в 4 главе Клитонфонт узнает о смерти Левкиппы — „у меня хлынули слезы, и очам передалась скорбь“, — и сейчас же опять высказывается ряд соображений о действии физических и душевных ударов. Подобных примеров можно было бы привести много. Манера вставлять в рассказ сентенции встречается, как упоминалось выше, и у других авторов романов, но только у Татия она разветвляется во всю ширь ¹⁾.

¹⁾ Различная конструктивная роль рассуждений, с одной стороны, описаний и вставных эпизодов — с другой, подтверждается тем, что во второй половине романа, где описания и вставные рассказы почти отсутствуют, рассуждений не меньше, чем в первой части.

Вопрос об отношении Ахилла Татия к более ранним греческим романам не вполне еще разрешен. Легче всего установить его зависимость от Гелиодора. Меньше точек соприкосновения с Лонгом, но два места романа Татия очень близки к „Дафнису и Хлое“, — это начало романа и рассказ о сиринге (Татий VIII, 6 и Лонг II, 34; обычно считают, что Лонг был образцом Татия, но сходство этих мест может быть и случайным, а преобладающее значение риторического элемента в обоих романах вполне объяснимо из духа времени, без прямого заимствования. Наконец, некоторые ситуации Левкиппы и Клитофонта напоминают роман Харитона. У последнего Хэрей делается рабом кариийского сатрапа Митридата; Каллироя считает его мертвым и воздвигает ему кенотафий. Хэрей пишет ей письмо, полное упреков, и в нем напоминает своей возлюбленной все, что он перенес ради нее, между тем как она вступила в новый брак. У Татия (V) положение почти такое же, но роли как раз обратные.

Гораздо важнее отметить некоторые особенности романа Ахилла Татия, которые отличают его от других софистических любовных романов. Уже Роде отметил в нем черты реализма, чуждые другим произведениям этого рода, и „невысокое достоинство, отличающее все образы романа“. Роде обращает внимание на трусость Клитофонта, столь отличную от душевных качеств героев Харитона или Гелиодора, и склонен объяснять такую низкопробность героя романа Татия характером „поздней, склоняющейся к византизму эпохи“ (о. с. 480). Можно соглашаться или нет с такой характеристикой этого времени, но мы знаем теперь, что роман Татия был датирован Роде неправильно, так что дело не в этом. В третьем веке вряд ли можно говорить о том „византизме“, который Роде имеет в виду. Но, действительно, автор ставит своего главного героя в униженные и смешные положения; таково трехкратное избиение его — Ферсандром (V, 23), Сосратом (VII, 14) и снова Ферсандром (VIII, 1). Но независимо от его плачевного поведения в стычках с мужем, Мелитой, Клитофонт наделен и другими чертами, которые немислимы были бы в романах Харитона, Ксенофонта Ефесского или Гелиодора. Характеристика его, данная в первых двух частях — наставления, которые он выслушивает от Клиния, его ухаживание за Левкиппой, намек на его обычное времяпрепровождение (II, 26), его участие в препирательствах в конце II части — дипломатическое поведение его по отношению к Левкиппе и ее отцу (VIII, 5), все это придает Клитофонту скорее черты героя комического романа, где избиение главного действующего лица и реалистическая эротика являются постоянными мотивами.

В сохранных нам софистических любовных романах в схеме похождениям разлученных влюбленных обнаруживается известная двойственность, при чем в одном случае одна из сторон нарушает свою верность. Но у Харитона это дано в сложной психологической, идеальной мотивировке: Каллироя вступает в брак с Дионисием, чтобы спасти ожидаемого ребенка. В пасторали Лонга, в соответствии с общей установкой на буколическую наивность, неверность Дафниса мотивируется его неопытностью; у Ахилла Татия (V, 27) — это просто человеческая слабость и страх перед Эротом — опять то же отклонение от идеального образа.

Да и сама Левкиппа охарактеризована несколькими, правда, немногими штрихами, которые не могли бы стоять в других любовных романах, романах строгого стиля. Ее сцены с матерью, где она обнаруживает большую находчивость и умение притворяться (II, 35), ее разговор с Мелитой, когда она проявляет „большое коварство“ (V, 22), показывают сознательное отклонение от традиционного типа. Наконец, для такого места романа Татия, как речь жреца Артемиды (VIII, 9), вся построенная на двусмысленностях, параллели могут быть найдены только в романе Петрония¹⁾.

В ряде романов героиня становится очистительной жертвой и спасается только благодаря счастливым случайностям (Ксеноф. Еф. II, 13; Гелиодор X); у Ксенофонта Анфию спасает внезапное появление воинов, у Гелиодора Феагена и Хариклею избавляет вмешательство гимнософистов. У Ахилла Татия (III, 17 сл.) жертв приношение оказывается фарсом и заканчивается забавной сценой оживления Левкиппы. Подобные трюки, по замечанию Роде, входили в репертуар странствующих фокусников, но введение такого приема в романе Татия хотелось бы сравнить с тем местом романа Петрония, где Гитон делает вид, что убивает себя, пользуясь для этого тупой бритвой (Сатирикон 94).

Мотив вещего сна — нестесняемая принадлежность любовного романа. Этот мотив использован и Татием. Страшный сон, встревоживший покой Панфии (II, 24), как будто исполняется в третьей части, но исполняется так, что это наводит на мысль о сознательной пародии.

Все это, вместе взятое — особые приемы характеристики действующих лиц, обилие эротики, пародическая трактовка традиционных мотивов — позволяет видеть в романе Ахилла Татия, замыкающем собою развитие софистического любовного романа, отклонение от традиционного типа в сторону приближения к комическому роману нравов. Любовный роман строгого стиля, видимо, завершится романом Гелиодора; понадобились

¹⁾ См. R. Heinze, о. с. 516; Rohde, о. с. 481, 1.

новые приемы, чтобы идти дальше, и эти новые приемы создали в результате любопытное соединение двух стилей — торжественно-идеального прежних любовных романов и комически-реалистического, идущего от романа нравов. Независимо от этого, роман Татия дает и прямое развитие типа, отличаясь лишь своей насыщенностью элементом риторическим, введенным в очень искусно разработанные композиционные рамки.

О популярности романа Ахилла Татия в средние века свидетельствует большое число рукописей, в которых он сохранился. Роман этот, повидимому, принадлежал к числу запретных, и этим объясняется то, что в некоторых средневековых рукописях он помещен среди сочинений назидательного содержания, огражденный ими от слишком строгих взоров. Это же обстоятельство, как можно думать, сыграло немалую роль в том печальном состоянии, в котором находится большинство рукописей, изобилующих ошибками, как то было неизбежно при тайном и спешном переписывании.

А. Болдырев.

Ахилла Татия Александрийского ПОВЕСТЬ О ЛЕВКИППЕ И КЛИТОФОНТЕ

В ВОСЬМИ ЧАСТЯХ

Ἀχιλλέως Τατίου Ἀλεξανδρέως
Τῶν κατὰ Λευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα λόγοι ὀκτώ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Сидон — город на море, море Ассирийское; мать финикиян этот город, народ — отец фиванцев; в заливе — двойная широкая гавань, мало-по-малу замыкающая морскую ширь. С одной стороны, справа, где залив образует изгиб, прорыто второе устье, туда тоже вливается вода, и у гавани образуется другая гавань, так что зимовать торговые корабли могут в ней, где море тихо и спокойно, а летом пребывать в гавани, служащей заливу преддверием.

Когда я прибыл сюда, я за свое спасение от сильной бури принес благодарственную жертву богине финикиян, — сидоняне называют ее Астартой. Прохаживаясь по городу и рассматривая разные приношения, я увидел посвященную богине картину, где нарисованы и земля, и море. На картине изображена Европа; море на картине — Финикийское, земля — Сидон. На земле — луг и хоровод девушек, а по морю бык плывет, и на спине у него красавица сидит, и плывет она на Крит вместе с быком. Множеством цветов пестрел луг, среди них разбросаны ряды деревьев и кустов; густо росли деревья, близко сходились листья; ветви сцеплялись листьями, и крышу над цветами образовало сплетение листов. Художник изобразил под листьями тень, и солнце едва пробивалось вниз в тех местах, где мастер приоткрыл сплошной лиственный покров. Ограда окружала весь луг, и внутри венка из листвы луг раскинулся; а под листьями кустов на грядах рядами цветы росли, нарциссы и розы с миртами. Ручей про-

текал по середине луга, то бил снизу из глубины земли, то орошал цветы и остальные растения.

Изображен был землекоп, склонившийся над канавой с мотыгой в руках, открывающий путь течению. А в конце луга, там, где земля выступала над морем, художник поместил девушек. Весь облик их — радость и ужас: головы венками украшены, волосы по плечам распущены, ноги совершенно обнажены — верхняя часть ноги не прикрыта хитонем, нижняя сандалией; пояс подтягивал хитон до самого колена. Лица у всех бледные, черты искаженные, открытые глаза в море уставились, рот слегка приоткрыт, от ужаса они, как будто, собираются испустить крик, а руки словно к быку протягивают. Они вошли в самое море, пока волна не оказалась немного выше ступней; казалось, они стремятся за быком побежать и боятся дальше в море вступать. У морской воды цвет двойной: у самой земли красноватый, темно-синий подальше в море. И пена изображена, и скалы, и волны: скалы над землей громоздились, пена вокруг скал белела, волна поднималась и о скалы разбивалась в кипении пен. Среди моря нарисован бык по волнам несущийся, и горою волна вздымается, где согнутые закругляются бычьи ноги.

Девушка сидела на самом хребте быка, не верхом, но так, что обе ноги ее свешивались с правого бока; левой рукой она держалась за рога, как возница держится за поводья; бык повернулся больше влево, следуя за движением руки, которая им правила. Хитон на груди девушки, до самых чресел; дальше плащ закрывал нижнюю часть тела ее; белый хитон, пурпурный плащ, тело сквозь одежду просвечивало. Глубоко запавшее чрево, чрево с напряженными мышцами, тонкий стан; тонкость эта, спускаясь к чреслам, шире делалась. Сосцы груди ее слегка выдавались; пояс стягивая хитон, закрывал и сосцы ее, и отражением тела стал хитон. Обе руки были протянуты, одна к рогам, другая к хвосту; и обеими руками, с обеих сторон, придерживала она над головой покрывало, вокруг спины распущенное. Вся ткань выгибалась и растягивалась, и этим живописец изобразил

ветер. А девушка сидела на быке, как на плывущем корабле, и ткань служила ей парусом. Вокруг быка плясали дельфины, играли Эроты — ты сказал бы, изображены самые их движения. Эрот увлекал быка; Эрот, малый ребенок, простирает свое крыло, висел у него колчан, он свой факел держал. Он оборачивался к Зевсу и улыбался, будто насмехаясь, что из-за него тот стал быком.

II

Я одобрял все в этой картине; но, как человек, знающий толк в делах любовных, с особым вниманием взирал на Эрота, увлекающего быка, и воскликнул: „И такой-то младенец царит над небом, землею и морем!“.

При этих словах юноша, тоже стоявший перед картиной, сказал: „Я мог бы подтвердить это; столько обид перенес я от любви“.

„А что же ты перенес, дорогой мой? — спросил я. — Ведь я вижу, что при такой внешности, как твоя, ты не чужд таинству этого бога“.

„Ты пробуждаешь, — ответил он, — целый рой рассказов; мои приключения похожи на сказки“.

„Так не медли же, дорогой, — воскликнул я, — умоляю тебя Зевсом и самим Эротом, рассказывай! В особенности, если твои приключения похожи на сказки“.

Говоря это, я беру его за руки и веду в соседнюю рощу, где росли платаны, многочисленные и мощные, протекал ручей, студеной и светлый, какие текут, когда только что стает снег. Я посадил юношу на низенькую скамейку, сам уселся с ним рядом и сказал: „Вот теперь настало время мне послушать рассказы твои; прекрасно это место и достойно повествований о любви“.

III

Вот как он начал свой рассказ:

„Родом я из Финикии, Тир — мое отечество, имя мое Клитофонт, отец мой Гиппий, брат отца — Сострат, не родной брат,

но у них обоих один отец, а матери: у Сострата — византиянка, у отца моего — тирийка. Дядя мой все время находился в Византии; там у него было большое имущество, полученное по наследству от матери; мой отец проживал в Тире. Матери моей я не знал; она умерла, когда я был совсем маленьким. Понадобилась отцу вторая жена, и от нее родилась Каллигона, сестра моя. Отец решил сочетать нас браком, но Миры, которые могущественнее людей, предназначали мне другую жену.

Божество часто любит открывать в ночную пору людям грядущее, и не для того, чтобы они от страдания уберегались, — ибо не могут они совладать с тем, что судил рок, — но для того, чтобы они с большей легкостью переносили свои страдания. Ведь все, что происходит сразу и неожиданно, внезапно обрушиваясь на душу, поражает и погружает ее в пучину; а то, чего люди, еще не испытав, ожидают, к чему они себя понемногу готовят, утрачивает всякую остроту.

Мне шел двенадцатый год, и отец готовил на следующий год свадьбу, когда Судьба начала свою игру. Во сне я увидел, будто я сросся с девушкой нижней частью своего тела, до самого живота, а оттуда вверх шли два тела; передо мною предстала женщина, ужасная и огромная, лицом дикая, с глазами, кровью налившимися, с искаженными чертами, со змеями вместо волос; в руках у нее был — серп в правой, факел в левой. Яростно бросившись на меня с поднятым серпом, она наносит удар в пах, где соединялись оба тела, и отсекает от меня девушку.

Я в страхе вскочил, никому не рассказал о своем видении, но сам усмотрел в этом дурное предзнаменование.

А в это время происходит следующее. Сострат, как я сказал уже, был братом отца. От него приезжает какой-то человек и привозит письмо из Византии, — вот что там было написано:

„Гиппию, брату своему, привет шлет Сострат.

Прибыли к тебе дочь моя Левкиппа и Панфия, моя жена, потому что на византийцев идут войной фракийцы. Сохрани самое дорогое, что есть у меня, пока не решится исход войны“.

IV

Прочитав это, мой отец вскакивает и выбегает к морю, а затем, немного погодя, возвращается обратно. За ним следовало великое множество рабов и прислужниц, которых Сострат прислал вместе с обеими женщинами; а в середине толпы шла высокая женщина в богатой одежде. Когда я посмотрел на нее, я увидел слева от нее девушку, чье лицо, как молния, ослепило мои глаза.

Такою видел я некогда изображенную на быке Селену: очи, сверкающие яркою прелестью; волосы золотые, и золото это вьется; брови черные, чернота непроглядная; щеки белые, и белизна их в середине слегка розовела и становилась подобной пурпуру, — так лидийские жены окрашивают слоновую кость; ее рот — цветок розы, когда роза начинает приоткрывать уста своих лепестков.

Как только я увидел ее, тотчас же погиб; ибо красота ранит острее стрелы и струится в душу через глаза: глаза — путь для любовного ранения. Что только не охватило меня сразу! Восхищение, изумление, дрожь, стыд, дерзновение; я величием восхищался, красоте изумлялся, содрогался сердцем, дерзновенно смотрел, стыдился своего плена. Я изо всех сил старался оттянуть свои глаза от девушки, а они не хотели и тянулись к ней, канатом красоты притянутые, и, наконец, победа досталась им.

V

Обе женщины приведены были к нам, и отец мой, отделив для них часть дома, заказывает обед. В назначенный час мы принялись за трапезу, расположившись по двое, — так распорядился отец; сам он и я — на среднем ложе, обе матери — на левом, правое занимали обе девушки.

Когда я услышал о столь прекрасном распределении мест, я чуть было не подошел к отцу и не поцеловал его за то, что он поместил Левкиппу у меня перед глазами.

Что я ел тогда, клянусь богами, сам не знаю; я был похож на тех, что вкушают пищу в сонном видении. Опершись локтем на подушку, расположившись на ложе, я во все глаза смотрел на девушку и в то же время старался скрыть, что гляжу на нее: вот в чем состоял мой обед!

Когда обед окончился, входит мальчик, раб моего отца, с настроенной кифарой; сперва он взмахнул и ударил по струнам руками, извлек несколько звонких звуков, перебирая пальцами струны, а затем уже стал ударять по кифаре плектром и, поиграв немного, запел под музыку.

В песне пелось о том, как Аполлон жаловался на Дафну, от него убегающую, как он преследовал и хотел поймать ее, как лавром стала девушка, и Аполлон себя этим лавром увенчивал.

Все это еще больше воспламенило душу мою; ведь любовный рассказ распаляет страсть; даже если человек увещевает себя быть благоразумным, пример побуждает его к подражанию, особенно когда пример подает кто-нибудь более могущественный; стыд перед совершением проступка благодаря высокому положению другого превращается в сознание безнаказанности.

„Ведь вот и Аполлон влюблен, — говорил я сам себе, — и он влюблен в девушку, но не стыдится своей влюбленности и преследует девушку; а ты медлишь и стыдишься и благоразумен не во-время; неужели же ты сильнее, чем бог?“

VI

Когда наступил вечер, женщины первые отправились спать, а немного позднее пошли и мы; остальные желудком измеряли полученное удовольствие, а я уносил угощение в своих глазах, преисполненный лицезрением Левкиппы и ни с чем не смешанным созерцанием; дойдя до пресыщения, я удалился, опьяненный любовью.

Когда же я пришел в комнату, где обычно спал, я заснуть не мог. Ведь, по самой природе своей, и все остальные болезни и раны телесные ночью труднее переносятся; они пробуждаются

в нас еще с большею силой в часы покоя и растрavляют наши муки; когда отдыхает тело, тогда-то язва и находит время болеть; а раны душевные, когда тело не движется, причиняют еще большую боль. Днем наши глаза и уши бывают заняты многими делами, и это облегчает остроту болезни, отвлекает наш дух, не давая ему времени страдать. Когда же покой сковывает нашу плоть, душа, предоставленная самой себе, волнуется своими бедами. Ведь все, что до тех пор дремало, в то время пробуждается: у скорбящих — горести, у тревогами уязвленных — заботы, у переносящих опасности — страхи, у влюбленных — огонь.

Только перед зарею сон сжалился надо мной и дал мне немного отдохнуть.

Но и тут она не хотела уйти из моей души; все сны были для меня полны одним — Левкиппою. Я беседовал, играл, пировал с нею, я прикасался к ней и испытал больше счастья, чем днем. Ведь я даже поцеловал ее, и настоящим был этот поцелуй; так что, когда раб разбудил меня, я стал бранить его за то, что он сделал это не во-время: из-за него я потерял столь сладостный сон.

После того, как я встал, я нарочно прогуливался внутри дома на глазах у девушки; я держал книгу и, склонясь над нею, читал; но глазами, если я подходил к дверям, исподлобья взглядывал на Левкиппу, а пройдя несколько раз взад и вперед и почерпнув любовь из этого созерцания, я, наконец, действительно удалился, и было у меня нехорошо на душе. Три дня пылал я таким пламенем.

VII

Был у меня родственник, по имени Клиний, молодой человек, сирота, двумя годами старше меня, уже посвятившийся в любовные таинства; влюблен он был в одного отрока. Он проявлял по отношению к нему необыкновенную щедрость: однажды он купил коня; отрок увидел его и похвалил — Клиний тотчас же подарил ему этого коня. Я всегда насмехался над его беззаботностью, над тем, что у него хватает досуга любить и что он раб любовного

наслаждения; Клиний на это улыбался и, покачивая головою, говорил: „Будешь и ты у меня скоро таким же рабом“. Вот к нему-то я и пришел, обнял его, сел с ним рядом и сказал: „Ну, Клиний, я наказан за свои насмешки над тобою: я тоже теперь раб!“.

Клиний всплеснул руками, захохотал, вскочив с места, поцеловал лицо мое, на котором видны были следы любовной бессонницы, и воскликнул: „Ты влюблен! Ты влюблен по-настоящему! Об этом говорят твои глаза“.

Только что он вымолвил это, как вбегает Харикл,—так звали того отрока, — и в сильном волнении говорит: „Я погиб, Клиний!“ Клиний застонал и, как будто жизнь его зависела от того, что он скажет, промолвил дрожащим голосом: „Ты убьешь меня, если будешь молчать! Какое у тебя горе? С кем нам надо сражаться?“

„Отец навязывает мне брак, — ответил на это Харикл, — да к тому же еще с безобразной девушкой, и придется мне жить с двойным злом: ведь жена — зло, даже когда она хороша собой, а если она еще страдает безобразием, то и зло двойное. А отец смотрит только на богатство и старается заручиться этим родством; и женят меня, несчастного, на деньгах ее, и женюсь я, в рабство проданный“.

VIII

Когда Клиний услышал это, он побледнел. Он стал побуждать отрока отвергнуть этот брак и бранил при этом всех женщин.

„Отец, говорил он, уже предлагает тебе вступить в брак? Но что же ты сделал дурного, чтобы надевать на тебя оковы? Разве не знаешь ты слов Зевса:

Зло подарю я им вместо огня, и они забавляться
Будут им, сколько хотят, своим собственным горем довольны.

Вот каково наслаждение от женщин; оно, по природе своей, подобно наслаждению, которое доставляют Сирены: ведь и те

убивают сладостным пением. Ты можешь понять всю огромность этого зла уже по одним приготовлениям к свадьбе. Гудение флейт, грохот ворот, пылающие пламенные факелы. Всякий, увидя такую суматоху, скажет: „Несчастен тот, кто собирается вступить в брак,—на войну, думается мне, посылают его“.

Если бы ты еще был чужд искусствам мусическим, ты мог бы не знать, что делают женщины; а теперь ты и другим можешь рассказать, какими драмами женщины заполнили сцену: ожерелье Эрифилы, Филомелино пиршество, клевета Сфенебзии, воровство Аэропы, убийство Прокны! Как пожелал Агамемнон прелестей Хрисеиды, так на эллинов чуму навел, как пожелал Ахилл прелестей Брисеиды, так себе горе приобрел; вот добыл себе прекрасную жену Кандавл, и убивает Кандавля жена. Огни Елениной свадьбы зажгли на горе Трое новый огонь, а брак благоразумной Пенелопы — скольких женихов он привел к гибели? Убила Гипполита Федра, потому что любила его, а Клитемнестра Агамемнона, потому что не любила. О, на все дерзающие женщины! Когда они любят, они убивают, и когда не любят, они все равно убивают. Агамемнон должен был погибнуть от руки убийцы, он, прекрасный, чья красота небесной была.

Зевсу, метателю молний, главой и очами подобной.

И эту-то главу, о Зевс! отрубила жена.

Но это все можно сказать о красивых женщинах, где несчастье еще умеренное; ибо красота приносит облегчение от всех зол, и это в самом несчастии создает счастье; если же еще и не хороша собою женщина, тогда, как ты говоришь, двойная беда.

Может ли кто-нибудь это вынести, да к тому же еще такой прекрасный отрок? Молю тебя всеми богами, Харикл, не делайся рабом, не губи до времени цвет своей юности. Ведь помимо всего, вот в чем еще злополучие брака: он губит самый расцвет. Не давай, молю тебя, Харикл, не давай погубить себя; не позволяй срезать прекрасную розу безобразному жнецу!“.

„Об этом позаботятся боги и я, — отвечал на это Харикл, — ведь до свадьбы осталось еще несколько дней, а многое может произойти в одну ночь. Теперь же я пойду, проедусь верхом. С тех пор, как ты подарил мне прекрасного коня, я еще не пользовался твоим подарком. Эта поездка облегчит томление души моей“.

И вот он ушел в последний путь, чтобы сесть на коня в первый и последний раз.

IX

Затем и я рассказываю Клинию о своей драме, о том, как это все произошло: как я ее увидал, как страдал, о прибытии гостей, об обеде, о красоте девушки. Наконец я понял, что говорю неподобающее:

„Не могу я выносить эту муку, Клиний! — воскликнул я. Любовь всей своей силой обрушилась на меня и гонит даже сон с очей моих: все время мне грезится Левкиппа. Ни с кем еще не бывало такого несчастья, ведь горе мое живет вместе со мной“.

„Какую нелепость ты говоришь, — возразил на это Клиний, — ты, который так счастлив в любви! Тебе не надо ни к чужим дверям ходить, ни помощников себе находить. Судьба дала тебе твою возлюбленную, привела к тебе и поселила в твоём доме. Другие влюбленные бывают счастливы, даже только взглянув на любимую девушку, и влюбленный считает за величайшее благо, если блаженствуют хотя бы его глаза; еще более счастливы влюбленные, если они удостоятся только одного слова; а ты видишь и слышишь ее постоянно, и ешь и пьешь вместе с нею. И, получив такое счастье, ты еще горюешь? Неблагодарный, ты не ценишь даров любви! Не знаешь ты разве, что это значит, когда ты смотришь на ту, кого любишь? Это наслаждение большее, чем обладание ею. Ведь взоры, взаимно преломляясь, запечатлевают, как в зеркале, образы тел; истечение красоты, струящееся через очи в душу, содержит в себе некое соединение, хотя бы тела и удалены были друг от друга. И это соединение сладостнее соединения телесного: ведь

это новое сплетение тел. Я же предсказываю тебе, что ты скоро будешь обладать ею; ибо лучшее средство убедить любимую, это — постоянно встречаться с нею. Ведь глаз — посредник в любви, и привычное общение помогает снискать благосклонность с особенной легкостью. Если свирепость зверей укрощается привычным общением, то тем скорее оно женщину смягчит.

Что-то особенно привлекательное имеет для девушки любовь к ней сверстника; чувство, которое в пору ее расцвета побуждает ее уступить природе, и сознание того, что она любима, часто порождает ответную любовь. Ведь всякая девушка хочет быть прекрасной, радуется, когда ее любят, и восхваляет влюбленного в нее за это свидетельство в ее пользу; а если никто не любит ее, тогда она еще не верит в свою красоту. Я даю тебе один только совет: пусть она поверит, что любима тобою, и тогда она скоро последует твоему примеру.

„Но как же осуществится твое предсказание? — спросил я. — Дай мне средства выполнить его; ты стал посвященным раньше, чем я, и лучше меня освоился с таинствами Эрота. Что мне говорить? Что делать? Как мне добиться любимой? Ведь я не знаю путей“.

X

„Не старайся, — ответил Клиний, — научиться этому у других; бог любви — изобретательный самоучка. Как новорожденных детей никто не учит искать себе пищу (они сами научаются этому и знают, что в материнской груди их трапеза), так и юноша, впервые бремениющийся любовью, не нуждается в наставлениях для того, чтобы родить. Когда наступят родовые муки и настанет роковой срок, ты не будешь недоумевать, хотя бы это были твои первые роды, но сумеешь разрешиться от бремени, и помогать при этом тебе будет сам Эрот. То же, что является общим достоянием и не связано с благоприятным мгновением, вот это ты услышь и узнай.

Не говори девушке речей любовных, но старайся добиться обладания ею молча. Юноша и девушка одинаково чувствуют стыд; и если даже они помышляют о радостях Афродиты, не желают слушать о своем томлении; ведь думают они, что именно слов стыдиться следует. Женщинам и слова доставляют удовольствие; а девушка терпит полные искушения заигрывания влюбленных в нее, пока они не касаются самого дела, и внезапно соглашается на то, что они выражают такими знаками; если же ты подойдешь к ней и станешь требовать, чтобы она отдалась тебе, твой голос поразит ее слух; тогда она краснеет, ненавидит подобные речи, ей кажется, будто она слышит хулу на себя, и, хотя бы она желала обещать тебе свою благосклонность, она стыдится сделать это: ведь ей чудится, что уже обладают ею, когда искушение слышится ей в сладостных речах. А когда ты испытаешь другой путь, когда ты сделаешь ее послушной тебе и потом уже ласково подойдешь к ней, — вот тут ты храни молчанье, как во время мистерий и, понемногу приблизившись к ней, целуй ее; ибо поцелуй влюбленного для любимой, которая хочет отдаться ему, бывает требованием, для непокорной — мольбою. Даже если все условлено, часто девушки, уже готовые добровольно отдаться любимому, желают сделать вид, будто их взяли силой, чтобы кажущаяся неизбежность спасла их от стыда добровольного согласия. Поэтому не вздумай колебаться, если увидишь ее противодействие, но следи за тем, как она противится; ведь и здесь нужно умение. Если она упорствует, не применяй силы, — она еще не покорна тебе; если же ты видишь, что она смягчилась, играй свою роль до конца, чтобы не погубить всей игры“.

XI

„Великие пути ты мне открываешь, Клиний, — сказал я, — я очень хочу достигнуть своей цели; однако, я все же боюсь, как бы моя удача не стала для меня началом еще больших бед

и не повергла меня в любовь еще сильнеею. Если еще вырастет эта напасть, что мне тогда делать? Жениться на Левкиппе я не могу, меня женят на другой девушке; отец настаивает, чтобы я вступил в брак, и требование это справедливо: это не брак с чужестранкой или с какой-нибудь безобразной девушкой; он не продает меня за богатство, как Харикла, нет, он отдает мне свою собственную дочь, красавицу, о боги! — такую она мне казалась, пока я не увидел Левкиппу; теперь же я слеп к ее красоте, и на одну лишь Левкиппу смотрят глаза мои. Я нахожусь на границе между двумя противниками: Эрот состязается с моим отцом. Отец меня к сыновнему долгу призывает, а Эрот огнем сожигает. Как мне разрешить эту тяжбу? Необходимость борется с природой, и я хотел бы разрешить дело в твою пользу, отец, но противник твой опаснее. Он пытается судью, стоит перед судом со стрелой, обвиняет и держит огонь. Когда я не слушаюсь его, отец, он жжет меня огнем!“

XII

Так философствовали мы об Эроте; внезапно вбегает один из рабов Харикла, и на лице у него написана весть о какой-то беде, так что Клиний, увидев его, тотчас же воскликнул: „С Хариклом какая-то беда!“ Одновременно с ним закричал и раб: „Умер Харикл!“.

При этом известии Клиний лишился голоса и замер без движения, сраженный этими словами, как ударом грома; а раб начинает рассказывать:

„Он сел, Клиний, на твоего коня, который первое время двигался медленно; затем, сделав два или три круга, Харикл приостановил свою прогулку и начал обтирать вспотевшего коня, не слезая с него, и позабыл при этом про поводья. И вот в то время, как он вытирал пот с бедер коня, сзади раздается шум; испуганный конь, встав на дыбы, делает прыжок и, обезумев, пускается вскачь. Закусив удила, выгнув шею, подняв

гриву, летел он, ужаленный ужасом, рассекая воздух. Передние ноги его неслись вскачь, а задние ускорляли бег, стараясь обогнать передние. Это состязание ног заставляло коня извиваться; поддавая ногами, он прыгал вверх и вниз, и, подобно кораблю во время бури, качался хребет его. А несчастный Харикл, раскачиваясь на волнах этой скачки, был из седла выброшен, как мяч, и то скользил к хвосту, то летел вниз головой к шее коня. Так им владели бурные волны! Удерживать дольше поводья он был не в состоянии, и, предав себя вихрю этой скачки, он оказался во власти Судьбы. Конь, в своем рьяном беге, свертывает с большой дороги, кидается в лес и разбивает несчастного Харикла о дерево. Тот вылетает из седла, как будто он выброшен был метательной машиной; ветви дерева обезображивают лицо и покрывают его столькими ранами, сколько там было острых ветвей. Обвинившиеся вокруг него поводья не желали отпустить тела, но тянули его за собой, волоча по стезе смерти. Конь, еще больше испуганный этим падением, чуя в этом теле какое-то для своего бега стеснение, стал топтать несчастного, уничтожая препятствие к бегству ударами копыт; никто, увидев труп Харикла, не узнал бы его“.

XIII

Слушая этот рассказ, Клиний некоторое время молчал, пораженный ужасом, а когда он пришел в себя от горя, завопил громким голосом и порывался к телу выбежать; последовал за ними и я, по мере сил утешая его.

А в это время на носилках вносили Харикла — зрелище плачевное и жалостное; весь он был одной сплошной раной, так что никто из присутствующих не мог удержаться от слез. Надгробный плач начал отец и в страшном горе запричитал: „Каким ты ушел от меня и каким возвращаешься, сын мой? О, злополучное конское ристание! Не обычную смертью умер ты у меня; не блещет красотой пристойной твой труп. У других умерших остается хотя бы след знакомого обличия; если мертвый теряет

цветущий вид лица, он сохраняет хоть облик свой и утешает сердце скорбящее тем, что сонному уподобляется; смерть изъяла душу, но в теле своем он сохраняет образ человека. А у тебя Судьба одновременно погубила и это, и умер ты у меня смертью двойной, смертью души и смертью телесною. Поистине даже и тень твоего образа умерла; ибо улетела душа твоя, и не нахожу я тебя в теле твоём. Когда же, сын мой, вступишь ты в брак? Когда же я отпраздную твою свадьбу, всадник и жених? Жених безрадостный, всадник несчастный! Гроб, дитя мое, твой чертог брачный, брак твой — час смертный, плач — твой гимн свадебный; а этот вопль — песни твоего брачного торжества. Иное пламя собирался я возжечь в твою честь, сын мой! Но завистливая Судьба погасила его вместе с тобой, а возжигает она для тебя факелы бед. О, горестное ношение факелов! Свадебное ношение факелов становится для тебя погребением!“.

XIV

Вот как голосил отец Харикла; а там, над своим горем, свою скорбь изливал и Клиний; было состязание в надгробном плаче между влюбленным и отцом:

„Потерял я моего повелителя! К чему поднес я ему такой подарок? Не было у меня разве золотого фиала, из которого он мог делать возлияния при питье, спокойно наслаждаясь моим даром? А я, злополучный, подарил прекрасному отроку чудовище, изукрасил это гнусное чудовище нагрудниками, налобниками, бляхами из серебра, золотыми поводьями. Увы мне, Харикл! Я украсил золотом твоего убийцу. Ты, конь, всех чудовищ свирепее, о гнусный, неблагодарный, нечувствительный к красоте! Харикл вытирал твой пот, обещал тебе обильную пищу, хвалил бег твой, — а ты убил его, ты, кого он расхваливал! Не наслаждался ты прикосновением такого тела, не гордился ты своим всадником, нет, жестокий, ты красоту на землю низверг! О, горе мне несчастному! Убийцу твоего, мужеубийцу я сам купил для тебя!“

XV

После похорон я сейчас же быстро отправился к Левкиппе; она находилась в саду нашего дома. Сад этот представлял собою рощу, и было великое наслаждение смотреть на него. Вокруг рощи шла невысокая ограда, и каждая сторона ограды — а было всего четыре стороны — осенена была хороводом колонн; а ниже колонн, внутри ограды, толпою теснились деревья. Пышно произрастали ветви, сталкивались одна с другою, листья переплетались, цветы обнимались, плоды сцеплялись: так близко сходились деревья. Вокруг иных, более мощных, стволов росли плющ и вьюнок; вьюнок свешивался с платана и обвивал его своей нежной листвою; а плющ, крутясь вокруг сосны, ласково привлекал ее к себе своими объятиями, и дерево сделалось опорой плюща, и венком дерева был плющ. По обе стороны дерева красовались листьями своими виноградные лозы, поддерживаемые тростниками, и зрелые, пышные гроздья спускались сквозь отверстия между тростниками, и это были кудри растения; листья свешивались сверху, и от солнца, мешавшегося с ветром, бледною тенью дрожала земля.

Цветы, сверкая пестрыми красками, рядами являли свою красоту, и это была багряница земли — фиалки, нарциссы и розы. Одинакова очертаниями своими чашечка у розы и у нарцисса: это фиал цветка; а цвет листков, разделяющихся вокруг чашечки, у розы — цвет крови, и вместе цвет молока, в нижней части лепестка; а нарцисс окраской своей совершенно подобен нижней части розы. У фиалки же чашечки нет совсем, а цвет ее такой, каким сверкает безветренная гладь моря. Среди цветов бил из земли ключ, и вырыт был четырехугольный искусственный водоем для воды его; а вода была для цветов зеркалом, так что казалось, будто не одна, а две рощи, одна — настоящая, другая — отраженная.

Птицы — одни, прирученные — порхали по роще, и их услаждала пища, приносимая людьми; другие вольным крылом играли

в вершинах деревьев; одни распевали птичьи песнопения, другие красовались одеянием своих крыл. Певцы — цикады и ласточки; одни пели про любовь Зари, другие про Тереево пиршество. Ручные птицы — павлин, лебедь, попугай: лебедь, среди водных струй плывущий, попугай, в подвешенной к дереву клетке живущий, павлин, волочащий по цветам свой хвост. И сверкали цветы во всем своем блеске, как птицы в своей яркой окраске, и перья были как цветы.

XVI

Я хотел подготовить девушку, чтобы легче было ввести ее в дела любви, и начал разговаривать с Сатиром, при чем удобный случай начать беседу дала мне птица. Случилось так, что Левкиппа прогуливалась вместе с Клио и остановилась перед павлином. Ибо по воле судьбы произошло так, что павлин в это время оперился всею красою своей и показал великолепное зрелище своих перьев.

„А ведь не без хитрого умысла делает это павлин, — сказал я, — нет, он великий знаток искусства любовного. Поэтому, когда хочет он приманить к себе любимую, тут он и развертывает всю свою красоту. Видишь птицу поблизости от платана? — при этом я указал на паву. Ей-то он и показывает сейчас свою красу, цветущий луг своих перьев. Но луг павлина покрыт цветами более красивыми: золото рассыпано на его перьях; кругом ровным кольцом обходит пурпур, и на каждом перьях красуется глаз“.

XVII

Сатир понял, что скрывалось за моими речами, и, чтобы был у меня повод побольше поговорить об этом, сказал: „Неужели так велика сила Эрота, что он даже на птиц изливает свой огонь?“.

„Не только на птиц, — отвечал я, — в этом нет ничего удивительного, раз и сам Эрот имеет крылья, но и на пресмыкаю-

щихся, и на растения, а мне думается, даже и на камни. По крайней мере, магнсийская руда любит железо; и как только она увидит его, так тянет к себе, как будто внутри у нее живет любовь. И не есть ли это поцелуй руды и железа, его любимого?

А о растениях рассказывают ученики мудрецов, — я сказал бы, что они рассказывают сказки, если бы не передавали того же и дети земледельцев. Рассказывают же они вот что: одни растения любят другие, но особенно тягостной бывает любовь для финиковой пальмы; говорят, среди финиковых пальм одни — мужские, другие — женские. И вот мужская любит женскую, и, если, по тому, как они посажены, женская пальма оказывается далеко, влюбленный сохнет. Но земледelec понимает горе дерева и выйдя на такое место вблизи пальмы, откуда ее видно со всех сторон, смотрит, в какую сторону она склонилась: ведь склонилась она в сторону любимой; узнав это, он излечивает страдание пальмы: он берет черенок женской пальмы и прививает его к сердцу пальмы мужской. Этим он облегчает душу растения, и умирающее тело вновь оживает и воскресает, радуясь слиянию с любимой. И вот это-то и есть брак растений.

XVIII

Бывает и другой брак, когда через море воды соединяются, и влюбленный — Элидский поток, а любимая — Сицилийская криница. Поток мчится через море, как через равнину. А оно не заливают пресноводного влюбленного волною соленою, но раздается перед ним, струящимся, и расселина моря для потока руслом становится; так море сопровождает к Аретузе Алфея, ее жениха. И вот, когда происходит Олимпийское торжество, многие опускают в волны потока разные дары; он же прямо несет их к своей любимой — это и есть венец, которое приносит поток.

Иное любовное таинство происходит у пресмыкающихся, не только у тех, что принадлежат к одной породе, но и у раз-

породных. Мурену вожделеет ехидна, земноводная змея; а мурена — тоже змея, но змея морская, по виду своему — змея, а по употреблению в пищу — рыба. Когда захотят они сочаться браком, ехидна выходит на берег и свистит в сторону моря, и этим мурене знак подает, а та узнает условный знак и выходит из волн морских. Но она не прямо выходит к жениху (знает она, что он носит смерть в зубах своих), но вылезает на камень среди моря и ждет, пока жених не очистит от яда свою пасть. И так стоят они оба и смотрят друг на друга, любовник на материке, а возлюбленная на островке. Когда же любовник изблует то, чего страшится его невеста, и она увидит выброшенную на землю смерть, тогда она сходит с камня и на сушу выбирается, и вокруг любовника обвивается, и уже больше не пугается поцелуев его.

XIX

Говоря все это, я в то же время смотрел на девушку, как-то она отнесется к любовным рассказам, а она дала мне понять, что слушает без неудовольствия.

И сверкающая красота павлина, показалось мне, уступала прелести лица Левкиппы! Ибо красота ее тела соперничала с луговыми цветами: цветом нарцисса блистало лицо ее, розы распускались на ее щеках, фиалкой сияли лучи ее очей, кудрявые волосы вились сильнее, чем плющ. Вот какой луг цвел на лице Левкиппы.

Немного спустя, она удалилась; ее звал час, когда она обычно играла на кифаре; но мне казалось, что Левкиппа все еще здесь, ибо, удалившись, она бросила свой образ в мои глаза.

Сатир и я, мы похвалили самих себя; я — за свое повествование, а он — за то, что дал мне повод к рассказам.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Хваля самих себя, мы направились в комнату Левкиппы, будто бы для того, чтобы послушать игру на кифаре; на самом же деле потому, что я не мог даже на короткое время совладать со своим желанием видеть девушку. Она спела сначала из Гомера про битву вепря со львом, а затем с ее уст прозвучала песня нежной музыки. Если, оставив в стороне изгибы песни и откинув гармонию, передать ее содержание прозой, то содержание было бы такое: „Если бы Зевс пожелал поставить над цветами царя, то роза царствовала бы над цветами. Она — земли украшение, краса растений, жемчужина цветов, луга румянец, Эротом веет, Афродите лелеет, в благовонные лепестки одевается, в трепещущие листья наряжается, листья Зефиру улыбаются“. Так она пела, а мне казалось, что я увидел розу на ее губах, словно кто-нибудь, сомкнув края цветочной чашечки, придал им очертания уст.

II

Лишь только она перестала играть, как наступило время обеда. Надо сказать, что тогда был праздник Диониса, покровителя виноградного сбора. Ведь Диониса тирийцы считают своим, ссылаясь на то, что у них поется и миф о Кадме. Они рассказывают, что в основе праздника лежит миф, по которому некогда у людей не было вина — ни темного душистого, ни вина от библосской лозы, ни маронского из Фракии, ни хиосского из Лакэны, ни икарского островного; все эти вина произошли

от пересаженных тирийских лоз; первая же родительница вина выросла у них. Был у них, по их словам, гостеприимный волопас — такой, каким афиняне изображают Икария; от него — то и пошел здесь этот миф. К этому волопасу пришел Дионис; тот подал ему то, что доставляет земля и пара волов; а напиток у них был такой, какой пили и воны: ведь виноградного еще не было. Дионис хвалит волопаса за радушие и подносит ему чашу в знак дружбы, а в ней был напиток — вино. Тот выпивает, приходит в восторг от удовольствия и говорит богу: „Откуда, чужестранец, у тебя эта пурпурная вода? Ведь это не та вода, что течет по земле. Та сбегает в грудь и доставляет слабое наслаждение, а эта радует не только вкус, но еще раньше его обоняние; она холодна при прикосновении, а спустившись в желудок, раздувает снизу огонь наслаждения“. „Это, — отвечал Дионис, — виноградный сок“. Бог ведет волопаса к лозе, берет гроздь, выдавливая ее и, указывая на лозу, говорит: „Вот вода, и вот источник“. Так, по рассказу тирийцев, вино пришло к людям. В тот день они и справляют праздник в честь этого бога.

III

Отец в своем рвении устроил роскошный обед и поставил богу священную чашу, уступавшую только произведению Главка хиосского. Вся она была из резного хрусталя. Кругом ее увенчивали лозы, выросшие из чаши самой; гроздья висели со всех сторон; все они были незрелы, пока чаша оставалась пустой; если же ты вливал в нее вино, гроздь понемногу темнела, и незрелый виноград созревал. Среди гроздий был вырезан Дионис для того, чтобы он растил лозу.

Пиршество было в разгаре, и я уже начал бесстыдно смотреть на Левкиппу. Эрот и Дионис, два неистовых бога, завладев душой, доводят ее до безумия и лишают стыда; первый жжет ее обычным огнем, второй подливает вино, как горючее вещество: ведь вино — пища любви. Уже и Левкиппа осмеливалась

более открыто смотреть на меня. Это мы делали в течение десяти дней: ничего, кроме взглядов, мы не выгадали и ни на что большее не решались.

IV

Я сообщил обо всем Сатиру и попросил его помогать нам. Он отвечал, что он обо всем знал раньше, чем услышал от меня; он только не решался изобличить меня, пока я сам это скрывал. Ведь любящий украдкой, если его кто-нибудь изобличит, ненавидит изобличителя, как оскорбителя. „Но,—сказал он,—случай уже позаботился о нас. Дело в том, что Клио, которой вверена опочивальня Левкиппы, вступила в связь со мной, и я ее любовник. Я понемногу так расположу ее к вам, что она будет помогать в вашем деле. Да и тебе не следует искушать девушку одними взглядами, но необходимо сказать слово посмелее. Затем пусти в ход второе средство: коснись ее руки, сожми ее палец, сжавши, вздохни. Если она все это стерпит и допустит, то уже твое дело назвать ее владычицей и поцеловать ее шею“. „Убедительно, клянусь Афиной, наставляешь ты меня на дело,—говорю я.—Боюсь только, как бы я не оказался малодушным и робким борцом Эрота“. „Эрот, возразил он, не выносит робости, дорогой мой. Ты видишь, какой у него воинственный облик? Лук и колчан, стрелы и факел — все исполненное мужества и отваги. И ты, имея в себе такого бога, робеешь и дрожишь? Смотри, не окажись лжецом перед ним! Начало я тебе устрою. Я уведу Клио, когда увижу наиболее удобное мгновение, чтобы ты мог остаться с девушкой наедине“.

V

Сказав это, он вышел. Я же, оставшись один, начал, под влиянием уговоров Сатира, побуждать себя быть смелее с Левкиппой: „До каких пор, малодушный, будешь ты молчать? Почему ты робок, воин храброго бога? Или ты ждешь, чтобы девушка сама к тебе пришла“. Затем я продолжал: „Почему ты,

злосчастный, не образумишься? Почему ты не любишь того, что тебе следует любить? У тебя в доме есть другая прекрасная девушка; ее люби, на нее смотри, ее можно тебе в жены взять“. Мне казалось, что я убедил себя, но изнутри, словно из сердца, Эрот так отозвался: „Против меня ли ты, дерзкий, в поход отправляешься и со мной ли к бою готовишься? Я несусь на крыльях, стрелами поражаю, факелом жгу. Как ты убежишь от меня? Если ты и убережешься от моего лука, то все же не сможешь уберечься от огня; если потушишь благоразумием пламя, все же я настигну тебя своим крылом“.

VI

Так рассуждая с самим собой, я неожиданно оказался перед Левкиппой и, увидя ее, сразу побледнел, потом покраснел. Она была одна; даже Клио не было при ней. И все же я от смущения нашелся только сказать: „Здравствуй, владычица“. Она слегка улыбнулась и, показав своей улыбкой, что поняла, в каком смысле я сказал „здравствуй, владычица“, говорит: „Я твоя владычица? Не говори этого“. „В самом деле, какой-то бог продал меня тебе, как Геракла Омфале“. „Ты говоришь о Гермесе? Ведь ему Зевс поручил эту продажу“, и с этими словами она улыбнулась. „О каком Гермесе? — сказал я. — Для чего ты говоришь пустяки? Ведь ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать“. В то время, как я так затягивал разговор, случай пришел мне на помощь.

VII

Случилось так, что накануне, около полудня, Левкиппа играла на кифаре. Рядом с ней сидела Клио; прогуливался там и я. Вдруг прилетевшая откуда-то пчела ужалила Клио в руку. Та закричала; Левкиппа вскочила, положила кифару и стала рассматривать ранку; при этом она уговаривала Клио не огорчаться, говоря, что она произнесет два слова и прекратит ее боль; этим заговорам против укусов ос и пчел она будто бы научилась у одной египтянки. Вместе с тем она начала напевать, и, немного

спустя, Клио сказала, что ей легче. И вот теперь случайно пчела или оса, прокружив вокруг меня с громким жужжанием, задела мою щеку. Я принял это близко к сердцу и, приложив руку к лицу, притворился, что ужален и страдаю. Левкиппа подошла ко мне, отстранила мою руку и спросила, куда я ужален. „В губу, сказал я: но почему ты не заговариваешь боль, дорогая?“ Она подошла ближе, приложила, готовясь заговаривать, свой рот к моим губам и начала что-то нашептывать, касаясь поверхности моих губ. Я тихо целовал ее, скрадывая звуки поцелуев. Она открывала и смыкала уста, и заговаривание, благодаря сопровождавшему его шептанию, превращалось в поцелуи. Когда я обнял ее и стал целовать уже открыто, она, отстранившись, спросила: „Что ты делаешь? И ты тоже заговариваешь?“ „Я целую знахарку, отвечал я, потому что ты излечила мою боль“. Она поняла, что я хочу сказать, и улыбнулась; а я, осмелев, говорю: „Увы, милая, я снова ранен, и притом еще опаснее. Рана спустилась на сердце и требует заговора твоего. И у тебя на губах пчела; ведь ты полна меду и ранишь своими поцелуями. Но прошу тебя, произнеси еще раз заговор и не торопись окончить его, чтобы рана опять не разболелась“. Говоря это, я стал сильнее обнимать ее и целовать свободнее, а она допускала это, но, конечно, сопротивлялась.

VIII

В это время мы увидели издали подходившую служанку и разошлись. Я — неохотно и с печалью, а она — не знаю как. Мне стало легче, я был полон надежд; я чувствовал лежащий на моих губах поцелуй, как какое-то тело, и бережно хранил его, как сокровище, оберегая поцелуй наслаждения. Ведь поцелуй от прекраснейшей части тела рождается: рот — орудие речи; речь — тень души. Соединение уст посылает в грудь наслаждение и влечет душу к новым поцелуям. Я не помню, чтобы прежде так наслаждался сердцем; тогда я впервые узнал, что, по наслаждению, с любовным поцелуем не может сравниться ничто.

IX

Когда пришло время, мы снова, как и прежде, принялись за трапезу. Сатир разливал вино и при этом пустил в ход следующую любовную уловку: он обменивает наши чаши и мою чашу ставит Левкиппе, а ее чашу мне; налив обоим вина и разбавив его, он подал нам чаши. Заметив то место, к которому девушка прикладывала губы, когда пила, я начал пить, приложившись к нему, пересылая таким образом поцелуй; вместе с тем я целовал чашу. Когда Левкиппа увидела это, она поняла, что я целую даже след ее губ. Сатир, наш помощник, снова обменял наши чаши. Тогда я увидел, что девушка подражает мне и пьет так же, как я, и стал радоваться еще больше. То же произошло в третий и в четвертый раз, и в течение остального дня мы так подавали друг другу чаши с поцелуями.

X

После обеда Сатир подошел ко мне и сказал: „Теперь пора быть мужчиной. Мать Левкиппы, как ты знаешь, нездорова и отдыхает одна; девушка прежде, чем отправиться спать, будет, по обыкновению, гулять одна в сопровождении Клио. Ее я уведу, отвлекая разговором“. Когда он кончил, мы разделились и начали подстергать: он — Клио, а я — Левкиппу. Так и случилось: Клио была отведена, а Левкиппа осталась в саду. Выждав время, когда дневной свет погас, и набравшись смелости, я прямо подошел к ней, как воин, чувствующий себя уже победителем и не испытывающий страха на войне. Ведь многое тогда вооружало меня смелостью: вино, любовь, надежда, безлюдие. Ничего не говоря, словно по предварительному уговору, я, не мешкая обнял девушку и начал ее целовать. Когда же я попытался приступить за дело, позади нас послышался шум. Мы в испуге вскочили. Она направилась в одну сторону, к своему помещению, я в другую, сильно опечаленный тем, что мне не удалось такое прекрасное дело, и браня этот шум. В это время меня встречает

Сатир с сияющим лицом. Он, повидимому, наблюдал за тем, что мы делали, высматривая из-под дерева, как бы кто-нибудь не подошел к нам; он и произвел этот шум, заметив, что кто-то приближается.

XI

Прошло немного дней, и отец стал готовиться к моей свадьбе раньше, чем сам было решил. Дело в том, что его часто смущали сновидения. Он видел, что справляет нашу свадьбу, что он уже зажег факелы, но в это время огонь погас; это еще более побудило его поторопиться соединить нас. Свадьба была назначена на следующий день. Каллигоне было куплено все нужное для свадьбы: ожерелье из разноцветных камней, одежда вся из пурпура — а там, где обыкновенно на одежде пурпур, здесь было золото. Камни спорили друг с другом: гиацинт был розой среди камней; рядом с золотом багровел аметист. В середине были три камня, перенимавшие цвет друг у друга; все три были соединены между собой: основание камня — черное; с черной средняя, белая часть, сплетается; рядом с белой остальное образует красное завершение. Камень, окруженный золотом, походил на золотой глаз. Краска одежды была не из простого пурпура, но из такого, какой, по рассказу тирийцев, впервые нашла собака пастуха, — этим пурпуром они до сих пор окрашивают пеплос Афродиты. Ведь было время, когда красота пурпура была скрыта от людей; ее укрывала маленькая раковина в своем круглом углублении. Рыбак выловил эту добычу. Он думал, что это рыба; когда же он увидел, что это шероховатая раковина, он стал бранить свою добычу и выкинул ее, как морские отбросы. Собака натывается на эту находку и разгрызает ее зубами, пасть собаки покрывается кровью цветка, кровь окрашивает ее челюсть и облекает губы багрянницей. Пастух увидел окровавленные губы собаки и, приняв краску за рану, подошел и смыл ее морской водой, а кровь еще ярче побагровела. А когда он прикоснулся к ней руками, то пурпуром покрылась и рука. Тогда

уразумел пастух природу этой раковины, в которой вырастает зелье красоты. Взяв клочок шерсти, он опустил эту шерсть в полость раковины, исследуя ее таинства. Шерсть покрылась кровью, как раньше челюсть собаки. Тогда-то он и узнал жилище пурпура. Набрав камней, он разбивает стены, в которых было заключено зелье, раскрывает святилище пурпура и в краске находит для себя клад.

XII

В этот день мой отец приносил предварительные жертвы перед свадьбой. Когда я об этом услышал, то счел себя погибшим и стал придумывать хитрость, при помощи которой можно было бы отсрочить свадьбу. В то время, как я был занят этим, неожиданно поднялся шум в мужской половине дома. Случилось следующее: когда отец уже заклал животное и оно лежало на жертвеннике, спустившийся сверху орел похищает мясо. Его пытались испугать, но безуспешно: птица улетела, унося добычу. Это показалось нехорошим знамением, и на этот день прекратили приготовления к свадьбе. Отец призвал прорицателей и толкователей предзнаменований и рассказал им о знамении. Они объявили, что следует принести умиловительную жертву Зевсу Гостеприимцу, отправившись в полночь к морю: ведь туда именно полетела птица. Я же после того, как все это произошло, осыпал похвалами орла и говорил, что он справедливо является царем всех птиц. Спустя немного времени сбылось то, что предвещало знамение.

XIII

Был в Византии юноша по имени Каллисфен, сирота и богат, но притом распутник и расточитель. Он слышал, что у Сострата дочь красавица и, хотя никогда и не видал ее, пожелал, чтобы она стала его женой, и был влюблен по наслышке. Такова уж необузданность своевольных людей, что они позволяют себе роскошь любить по слухам и испытывают, благодаря словам, то,

что обыкновенно доставляют душе пораженные глаза. И вот он, еще прежде, чем на византийцев обрушилась война, обратился к Сострату, прося у него девушку в замужество. Тот, чувствуя отвращение к его необузданной жизни, отказал. Гнев охватил Каллисфена, — он считал, что Сострат оскорбил его, искренно влюбленного. Представляя себе красоту девушки и воображая то, чего не видел, он затаил сильную вражду к Сострату. Он замыслил отомстить Сострату за оскорбление и удовлетворить свою страсть. Ведь у византийцев существует закон, по которому всякий, кто похитил девушку и успел сделать ее своей женой, карается браком с ней. За этот-то закон и ухватился Каллисфен и стал выжидать удобного времени для исполнения задуманного.

XIV

Теперь кругом происходила война, девушка была увезена к нам; он знал обо всем этом и тем не менее не оставлял своего замысла. Следующее обстоятельство помогло ему — византийцам был дан такой оракул:

Остров есть некий и град; в нем древоименное племя.

К берегу, что впереди, несет он пролив с перешейком;

С радостью там обладает Гефест светлоокой Афиной.

Здесь-то велю тебе жертвой почтить я владыку Геракла.

Они не понимали, что означает это прорицание. Сострат — он был, как я упомянул, стратегом во время войны — сказал им: „Пора нам послать жертву Гераклу в Тир. Ведь все то, о чем говорится в оракуле, находится там. Древоименным назвал его бог потому, что это остров финикийцев, а финиковая пальма — дерево. Спорят о нем земля и море; влечет его земля, влечет и море, а он к обоим прилачился. Ведь и в море лежит он, и землю не отпустил; узкий перешеек связывает его с материком и как бы служит острову шеей. Он не укреплен корнями в море, вода протекает под ним, и под перешейком лежит пролив. Все это — зрелище необыкновенное: город на море и остров на земле. „Афиною владеет Гефест“ — это намек на маслину

и огонь, которые у нас сожительствоуют друг с другом: священное место в ограде; там растет маслина с блестящими ветками, вместе с ней вырастает огонь, он зажигает на ее побегах большое пламя, и копоть огня питает растение. Это и есть дружба между растением и огнем, так Афине не противен Гефест“. Хэрефон, старший товарищ Сострата по стратегии, — он был по отцу византиец, — превознося его до небес, сказал: „Весь оракул ты прекрасно истолковал. Следует, однако, удивляться не только природе огня, но и природе воды. Сам я видел такие таинства: вода сицилийского источника смешана с огнем; ты мог бы видеть, как снизу от нее пламя устремляется вверх; если же ты прикоснешься к ней, то она оказывается холодной, как снег; вода не тушит огня, и огонь не жжет воду, но в источнике заключен мир между водой и огнем. Также иберийская река на первый взгляд ничем не отличается от всякой другой реки; если же ты желаешь услышать рокотание воды, то подожди немного и напряги слух: если хоть слабый ветер падет на волны, то вода, как струна, сотрясается, и дуновение плектром воды становится, и, как кифара, рокочет поток. И озеро ливийское подражает земле индийской. И знают его тайну ливийские девы, что вода в нем богатая: богатство хранится под ним, окованное речным илом, и есть источник золота там. Они погружают в воду шест, обмазанный смолой, и раскрывают речные затворы. Шест становится для золота тем же, чем для рыбы крючок: он его ловит. Смола становится приманкой при ловле: как только попавшие на смолу частицы золота прикоснутся к ней, она тотчас же увлекает свою добычу на землю. Так из ливийской реки выуживают золото“.

XV

Так он сказал и отправил в Тир жертву с одобрения города. И вот, Каллисфен добился участия в посольстве. Поспешно приплыв в Тир, он узнал, где дом моего отца, и начал подстергать женщин. Они вышли, чтобы посмотреть на жертвоприно-

шение. И в самом деле, оно было роскошно. Обильно было благовоний воскурение, обильно цветов сплетение. Курения — кассия, ладан, шафран; цветы — нарциссы, розы, мирты. Запах курений состязался с дыханием цветов, и дуновение, от них восходившее, изливало в воздух свой аромат. Жертвенные животные были многочисленны и разнообразны; выделялись среди них нильские быки. Египетский бык отличается не только своим цветом, но и величиной. Он очень велик, шея у него плотная, спина плоская, живот толстый; рога не простые, как у быка сицилийского, не безобразные, как у киприйского. Круто поднимаясь со лба, понемногу загибаясь с обеих сторон, они своими концами сближаются настолько, насколько отстоят друг от друга их основания, и представляют собою подобие полной луны. Цвет у быка такой, какой Гомер восхваляет у коней фракийского царя. Ходит бык с поднятой головой и как бы показывает, что он — царь других быков. Если только достоверен миф об Европе, то именно египетским быком Зевс представился.

XVI

Моя мать в это время была нездорова. Левкиппа, притворившись также больной, осталась дома, — ведь у нас было условлено сойтись вместе, как только все уйдут из дому. Случилось таким образом, что моя сестра вышла с матерью Левкиппы. Каллисфен, никогда не выдавший Левкиппы, увидя мою сестру Каллигону, принял ее за Левкиппу, — надо сказать, что жену Сострата он узнал. Не наводя справок, плененный видом девушки, он указывает на нее вернейшему из своих рабов, велит ему набрать разбойников для ее похищения и излагает свой замысел. Дело в том, что предстоял праздник, в который, как он слышал, все девушки пойдут к морю.

XVII

Окончив речь и отделившись от обязанностей по посольству, он ушел. Корабль у него был собственный. Он заготовил его

еще дома, на случай удачи своего предприятия. Остальные послы отплыли. Каллисфен же немного отдалился от земли с тою целью, чтобы думали, будто он последовал за согражданами, и чтобы его не уличили после похищения, если его судно будет вблизи от Тира. Прибыв к тирийской деревне Сарапте, лежащей у моря, он достает себе там челнок и передает его Зенону, — таково было имя раба, которому он поручил похищение. Этот последний, человек вообще крепкий телом и по природе предприимчивый, скоро выискал морских разбойников — рыбаков из этой деревни — и отплыл к Тиру. Есть у тирийцев маленькая гавань — островок на небольшом расстоянии от Тира; тирийцы называют его могилой Родопиды; там и притаился челнок.

XVIII

Еще до того праздника, которого ждал Каллисфен, случилось то, что я уже рассказал об орле и прорицателях, и мы приготовились на следующие сутки, ночью, принести жертву богу. Ничто из всего этого не укрылось от Зенона. Когда поздно вечером мы вышли из дому, он стал следовать за нами. Как только мы пришли к морскому берегу, он подал условный знак, и лодка неожиданно подплыла к нам. Когда она приблизилась, в ней оказалось десять юношей. Восемь других он еще раньше поставил на берегу, в засаде; они были в женских одеждах, бороды их были сбриты; каждый из них скрывал за пазухой меч. Они также вели с собой жертвенное животное, чтобы как можно меньше возбуждать подозрение. Мы думали, что это женщины. Когда же мы сложили костер, они вдруг с криком сбегаются и тушат наши факелы. Мы от неожиданности в беспорядке разбегаемся, а они, обнажив мечи, похищают мою сестру, сажают ее в челнок, тотчас же садятся туда сами и улетают, как птицы. А из нас одни убежали, ничего не узнав и не увидев, а другие, лишь только увидели, стали кричать: „Разбойники похищают Каллигону“. Но судно уже шло по открытому морю. Когда они пристали к Сарапте, Каллисфен, увидав издали знак, выплыл

к ним навстречу, принял девушку и тотчас же уплыл в море. Я свободно вздохнул, когда моя свадьба так неожиданно расстроилась, горя в то же время о своей сестре, впавшей в такое несчастье.

XIX

Немного дней спустя, я обратился к Левкиппе с такими словами: „Доколе, возлюбленная, будут у нас одни поцелуи? Прибавим к этому что-нибудь более сладостное. Наложим друг на друга обязательство верности. Ведь, если Афродита введет нас в свои таинства, никто не одолеет этой богини“. Я часто так нашептывал девушке и убедил ее принять меня ночью в опочивальне. Клио, ее горничная, должна была нам помогать. Опочивальня Левкиппы была устроена так: было большое помещение, заключавшее в себе четыре комнаты: две по правую руку, две — по левую; посредине узкий проход разделял комнаты; единственная дверь находилась в начале прохода. Здесь-то и было помещение женщин: внутренние комнаты, одну против другой, поделили между собой Левкиппа и ее мать; из двух внешних, ближайших к выходу, одна, соседняя с комнатой Левкиппы, принадлежала Клио, другая была кладовой. Укладывая спать Левкиппу, мать всегда запирала изнутри дверь прохода; извне ее запирал кто-нибудь другой и бросал ключи в окно. Она, взяв их, хранила у себя, а на заре, вызвав того, на чьей обязанности это лежало, снова выбрасывала ключи, чтобы он открыл дверь. Сатир, подделав ключи, попробовал открыть и, найдя, что это возможно, убедил Клио, с согласия Левкиппы, не противодействовать нашему замыслу: относительно этого мы и сговорились.

XX

Был у них раб по прозванию Комар, любопытный, болтливый, обжора и все, что только можно сказать дурного про человека. Мне казалось, что он издали наблюдает за тем, что мы делаем. Более всего он боялся — и вполне основательно — как бы

мы не сделали чего-нибудь ночью, бодрствовал до поздней ночи, широко раскрыв двери своей комнаты, так что было трудно укрыться от него. Сатир, желая вступить с ним в дружбу, часто шутил с ним, называя его комаром, и подсмеивался над его прозвищем. Тот, зная о замысле Сатира, делал вид, что отвечает на шутки; в шуточные речи, однако, он вкладывал свое непримиримое настроение. Вот он и говорит Сатиру: „Раз ты смеешься над моим именем, то давай, я расскажу тебе басню про комара“.

XXI

„Лев часто укорял Прометея: он говорил, что тот создал его большим и красивым, вооружил его челюсти зубами, укрепил ноги когтями, сделал его сильнее остальных зверей“; но, „добавлял он, наделенный всем этим, я все же чувствую страх перед петухом“. Прометей, представ перед ним, говорит: „Зачем ты напрасно обвиняешь меня? От меня ты имеешь все, что я мог создать; а в этом проявляет слабость только твоя душа“. Лев начал оплакивать себя, бранить за трусость и, наконец, стал желать смерти. В таком настроении он встречает слона, приветствует его и останавливается, вступив с ним в беседу. Видя, что у того беспрестанно шевелятся уши, он спросил: „Что с тобой? Почему у тебя уши ни на мгновение не остаются в покое?“. Слон отвечал: „Видишь ли ты это маленькое жужжащее животное? — в это время мимо пролетал комар. — Если оно проникнет ко мне в ухо, я погиб“. „Для чего, — воскликнул тогда лев, — умирать мне, такому большому животному, настолько более счастливому, чем слон, насколько петух превосходит комара!“. Ты видишь, закончил он, — какой силой обладает комар, раз он внушает страх даже слону“.

Сатир понял тайный смысл его слов и, слегка улыбаясь, говорит: „Выслушай и от меня рассказ о комаре и льве, который я слышал от одного философа. Я охотно возвращаю тебе слона твоей басни“.

XXII

„Хвастливый комар говорил как-то льву: „Ты думаешь, что ты и надо мной царствуешь, как над остальными животными? Но ведь ты не красивее меня, не сильнее и не больше. В самом деле, какова, прежде всего, твоя сила? Ты терзаешь когтями и кусаешь зубами? Но разве этого не делает и женщина, когда дерется? Какой рост, какая красота украшает тебя? Грудь у тебя широкая, плечи плотные, а на шее густая грива. Своего безобразия сзади ты и не видишь. А мой рост — весь воздух, который преодолевают мои крылья; красота моя — кудри лугов. Они — словно одежды, которые я надеваю, когда от полета хочу отдохнуть. О мужестве моем смешно было бы не упоминать. Ведь весь я — орудие войны. Я готовлюсь к бою, имея трубу и стрелу; труба моя и стрела — мое жало, так что я и на дуде игрец, и из лука стрелец; ведь пускает меня по воздуху мое крыло, а попавши, как стрела, причиняю рану. Ужаленный тотчас же вскрикивает и ищет ранившего. Я же, хотя и нахожусь на-лицо — отсутствую; и убегая, и остаюсь, и мчусь на крыльях вокруг человека, и смеюсь, видя, как он от ран пляшет. Но к чему слова? Начнем бой!“. С этими словами он нападает на льва, устремляется к его глазам и к другим не защищенным шерстью частям лица; он кружится вокруг льва с громким жужжанием. Лев свирепел, поворачивался во все стороны, широко разевал пасть на воздух. Комар еще больше забавлялся его гневом и кусал его в самые губы. Тот наклонялся к больному месту, сгибаясь в сторону раны. А комар, словно борец, упражняющий свое тело к борьбе, проскальзывал между зубами льва, перелетал сквозь смыкающиеся челюсти; и зубы, выпустив добычу, стучали друг о друга. Лев уже утомился тщетно бороться против воздуха зубами и остановился, утомленный гневом, а комар, кружась вокруг его гривы, заиграл победную песнь. Захватив более широкий круг в своем полете, он из-за своей чрезмерной самоуверенности неожиданно запутался в паутине и, попав туда, был замечен пауком. Бежать

он уже не мог и в тоске воскликнул: „О я неразумный, я вызывал на бой льва, а поймала меня ничтожная ткань паука!“. Пора и тебе, — заключил Сатир, — опасаться пауков“, — и он засмеялся.

XXIII

Немного дней спустя, Сатир, зная, что Комара часто одолевает его ненасытный желудок, купил зелья, погружающего в глубокий сон, и позвал его на ужин. Тот, подозревая какую-нибудь хитрость, сначала колебался, но милейший желудок взял верх, и он согласился. Он пришел к Сатиру, а когда затем, поужинав, собирался уходить, Сатир налил ему зелья в последний кубок. Комар выпил и, спустя короткое время, в течение которого он успел дойти до своей комнаты, повалился спать, усыпленный зельем. Тогда Сатир вбегает ко мне и говорит: „Спит твой Киклоп; а ты будь доблестным, как Одиссей“. Так он сказал, и мы уже оказались у дверей возлюбленной. Он остался позади, а я вошел; Клио бесшумно впустила меня, дрожавшего двойной дрожью — и от радости, и от страха: страх перед опасностью смущал надежды моей души, надежда на успех покрывала радостью страх. Так и надежды мои боялись, и радовалась скорбь моя.

Лишь только я вошел в опочивальню девушки, как с ее матерью приключилось следующее. Ее встревожил сон. Ей прикинулось, что разбойник с обнаженным мечом похитил ее дочь и уводит ее; опрокинув ее навзничь, он мечом разрезал пополам ее чрево, начиная снизу, с паха. Встревоженная, Панфия вскакивает от ужаса, как была, и бежит в спальню дочери — ведь они были рядом — в то время, как я только что прилег. Услышав шум открываемых дверей, я тотчас же вскочил, а она была уже у ложа. Сообразив, что дело плохо, я бросаюсь вон из комнаты и бегом устремляюсь через двери. Сатир встретил меня дрожащего и встревоженного. Затем мы пустились бежать в темноте и достигли своего жилища.

XXIV

Сразу у Панфии закружилась голова, и она упала. Затем, приведя Клио, она, ни о чем не спрашивая, принялась бить ее по щекам, стала рвать на себе волосы и возопила к дочери: „Ты погубила мои надежды, Левкиппа,—говорила она,—увы, Сострат! Ты воюешь в Византии ради чужих браков, а в Тире ты побежден, и кто-то похитил брак твоей дочери. О, я несчастная, не думавшая увидеть такой брак! О, если бы ты осталась в Византии, о, если бы ты потерпела насилие по праву войны! О, если б победитель фракиец овладел тобой! Несчастье вследствие принуждения не влекло бы за собой позора. А теперь, злосчастная, бесчестие твое в несчастии твоём! Обманывали меня призраки снов, а истинного сновидения не видела я. Теперь чрево у тебя страшнее разрезано! Это порез более жестокий, чем порез от меча! Я даже не видела твоего обидчика и не знаю, как несчастье произошло? О горе! Да уж не раб ли это был?“

XXV

Левкиппа набралась смелости, так как я уже убежал, и говорит: „Не порочь моей девственности, мать. Я не сделала ничего, что было бы достойно таких речей. И о нем я не знаю, кто он, бог ли, герой или разбойник. Я лежала, испуганная, и от страха не могла закричать. Ведь страх для языка — оковы. Одно только знаю, никто не опозорил моей девственности“. Панфия опять упала и испустила стон.

Оставшись одни, мы раздумывали, что следует делать, и решили, что лучше всего бежать до зари, прежде чем Клио расскажет все под пыткой.

XXVI

Сказано — сделано. Объяснив привратнику, что мы идем к любовнице, мы отправляемся к дому Клиния. Была уже полночь, так что привратник неохотно открыл нам. Клиний, опочи-

вальня которого была наверху, услышав наш разговор, в тревоге сбегает вниз. В это время мы видим позади поспешно бегущую Клио; и она, оказывается, задумала бежать. И вот сразу Клиний услышал от нас о том, что мы испытали, и мы от Клио, как она убежала, а Клио от нас о том, что мы намерены делать. Войдя в дом, мы рассказываем Клинию о случившемся и о том, что решили бежать. „И я с вами,—говорит Клио:—ведь если я останусь до зари, то мне угрожает смерть, хотя она более приятна, чем пытки“.

XXVII

Клиний берет меня за руку, отводит подальше от Клио и говорит: „Мне кажется, что я пришел к наилучшему решению: Клио надо незаметно услать, а нам несколько дней подождать; если же на то решимся, приготовиться и бежать. Ведь мать девушки, как вы говорите, не знает еще, кого она застала, и доносчика не будет, раз Клио исчезнет. Может быть, вы убедите и Левкиппу бежать с вами“. Он добавил, что и сам он разделит с нами наше путешествие. Так и было решено: Клио он поручил одному из своих рабов, приказав посадить ее на корабль, а мы, оставшись у Клиния, стали думать о предстоящем: кончили тем, что решили спросить Левкиппу и, если она пожелает бежать с нами, так и сделать, если же нет, то остаться, отдавшись на волю Судьбы. Остальную часть ночи мы проспали, а на заре возвратились обратно домой.

XXVIII

Панфия, проснувшись, приготовилась пытать Клио и велела ее позвать. Так как та скрылась, она снова поспешила к дочери. „Так ты не скажешь, как было устроено это представление?—говорила она. Вот и Клио убежала“. Левкиппа еще больше осмелела и говорит: „Что еще я могу тебе сказать? Какое могу привести другое, большее доказательство своей правдивости? Если существует какое-нибудь испытание девственности, то

испытать". „Еще этого не хватало, — воскликнула Панфия, — чтобы мы при свидетелях были несчастны“, и с такими словами она выскочила вон.

XXIX

Левкиппа, оставшись одна, под впечатлением речей матери, волновалась разнообразными чувствами: она огорчалась, стыдилась, гневалась. Печалилась потому, что ее уличили; стыдилась потому, что бранили; гневалась потому, что не верили. Стыд, печаль и гнев — три волны душевные: стыд, вливаясь через очи, уничтожает свободу очей; печаль, распространяясь в груди, тушит огонь души; гнев, рыкая в сердце, заливает рассудок пеной безумия; отец всех напастей — слово. Оно точно стрелу в цель пускает и попадает, и вместе с разнообразными стрелами раны в душу посылает. Первая у него — стрела поношения, и раной от него бывает гнев; вторая — обнаружение несчастий, от этой стрелы возникает печаль; третья — укоры за проступки, и рану от нее стыдом называют. Особенность всех этих стрел — глубокое ранение, бескровное оружие. Одно от всего этого лекарство — защищаться от поразившего такими же ударами. Ведь слово — стрела языка и стрелой другого языка отражается; оно в сердце успокаивает раздражение и в душе прекращает томление. Если же кто-нибудь по необходимости молчит перед более могущественным противником и не защищается, то раны сильнее болят от молчания; ведь причиняемые волнами слов страдания, если они не извергнут пены, усиливаются, вздуваясь сами собой.

XXX

Случилось, что именно в это время я послал к Левкиппе Сатира, чтобы спросить ее насчет бегства. Она, прежде чем выслушать его, говорит: „Умоляю вас, ради богов чужих и местных, удалите меня от глаз моей матери, куда хотите. Если вы уйдете и оставите меня, то я завяжу петлю и так освобожу душу“. Когда я об этом услышал, то почувствовал, что освободился от

главной заботы. Спустя два дня, когда отец мой был в отсутствии, мы начали готовиться к бегству.

XXXI

У Сатира еще был остаток того зелья, которым он усыпил Комара; прислуживая нам, он незаметно подливает его в последнюю чашу, которую он подал Панфии. Она, встав из-за стола, ушла в свою спальню и тотчас же заснула. У Левкиппы была уже другая прислужница; опоив и ее — с тех пор, как она была взята в опочивальню, он прикидывался влюбленным в нее — Сатир отправился на третью охоту, к привратнику и усыпил его тем же напитком. У ворот нас ожидала легкая повозка, которую заготовил Клиний, и сам он, сидя в ней, уже ждал нас. После того, как все заснули, в первую ночную стражу, мы без шума двинулись; Сатир вел за руку Левкиппу. Надо сказать, что Комар, который наблюдал за нами, в этот день случайно ушел из дому, чтобы исполнить какое-то поручение своей госпожи. Сатир открыл двери, мы вышли, достигли ворот и сели в повозку. Было нас всего шестеро: я с Левкиппой, Сатир, Клиний и двое его рабов. Мы отправились по дороге на Сидон, к последней трети ночи прибыли в этот город и тотчас же двинулись рысью на Бейрут, рассчитывая найти там стоящий на якоре корабль. Нам повезло: доехав до бейрутской гавани, мы нашли там отплывающее судно, у которого готовились уже отвязать причалы. Не спрашивая даже, куда оно плывет, мы пересаживаемся с суши на море. Время было предрассветное. Корабль плыл в Александрию, великий град на Ниле.

XXXII

Я сразу обрадовался, увидя море, хотя судно еще не отчаливало, а еще покачивалось в гавани. Когда ветер показался благоприятным для отплытия, на судне поднялась большая суматоха: матросы бегали во все стороны, кормчий давал приказания, тащили канаты; рею вращали, парус опускали, корабль отчаливал; якоря

поднимали, гавань покидали. Мы видели с корабля, как земля понемногу исчезала, словно сама уплывала. Пели пэан и усердно молились, призывая богов-спасителей и умоляя о счастливом плавании. Ветер подул сильнее, парус надулся и увлекал корабль.

XXXIII

Случайно рядом с нами расположился один юноша. Когда наступило время завтрака, он радушно пригласил нас закусить вместе с ним. Нам прислуживал Сатир. Достав то, что у нас было, мы начали общий завтрак и общую беседу. Я первый спросил: „Откуда ты, юноша, и как тебя зовут?“. „Я Менелай, — отвечал он, — родом египтянин. А вы кто такие?“ „Я Клитифонт, а другой Клиний, оба финикийцы“. „Что побудило вас предпринять путешествие?“ „Если ты первый расскажешь нам о себе, то и от нас услышишь“.

XXXIV

„Винювники моего путешествия, — говорит Менелай, — завистливый Эрот и несчастная охота. Я любил прекрасного отрока, отрок увлекался охотой. Я часто пытался сдерживать его, но не мог преодолеть его увлечение. Так как он меня не слушался, то и я следовал за ним на охоту. И вот, как-то мы оба охотились верхом. Сначала мы преследовали мелких зверей, и у нас была удача. Вдруг из лесу выскакивает вепрь, отрок за ним погнался. Вепрь повернул обратно и побежал навстречу ему. Отрок не переменил направления, хотя я громко окликал его и кричал: „Сдержи коня, перемени поводья, зверь опасен“. Вепрь рванулся и помчался прямо на него. Они столкнулись друг с другом. Когда я это увидел, меня охватил ужас: боясь, что зверь поразит коня, я хватаю дротик и, прежде чем точно наметить цель, пускаю его; отрок, пробегаая мимо, перехватывает удар. Что, думаешь ты, происходило тогда у меня в душе, если только во мне была душа? А самое трогательное то, что он, едва дыша, поднял руки, обнял меня и, умирая, не ненавидел меня, злодея, но, испуская

дух, обхватил мою правую руку, поразившую его. И вот родители отрока ведут меня в суд, и я не противлюсь. В своей речи я совсем не оправдывался, но присуждал себя к смерти. Судьи пожалели меня и присудили к трехлетнему изгнанию. Теперь оно окончилось, и я возвращаюсь обратно на родину“. Клиний, слушая его рассказ, прослезился, будто бы из-за Патрокла, а на самом деле потому, что вспомнил о Харикле. „О моем ли несчастье ты плачешь? — спросил Менелай. — Или и тебя заставило уехать что-нибудь подобное?“ Клиний, испустив стон, рассказал о Харикле и о коне, а после него и я поведал о своих несчастьях.

XXXV

Видя, что Менелай, под влиянием своих воспоминаний, стал совсем печальным, что Клиний плачет, вспомнив о Харикле, я, желая рассеять их тоску, завел речь о любовных утехах. Надо сказать, что Левкиппы не было с нами: она спала в каюте корабля. Улыбаясь, я говорю им: „Решительно, Клиний одерживает надо мною верх. Ведь он хотел, по своему обыкновению, говорить против женщин. Теперь ему будет, пожалуй, легче выступать, раз он нашел единомышленника в любви. Не знаю, почему любовь к мальчикам получила теперь такое распространение“. „Разве эта любовь не значительно лучше той? — сказал Менелай. — Ведь мальчики простодушнее женщин, и красота их доставляет более сильное наслаждение“. „Как более сильное? — возразил я. — Ведь его красота проходит, едва мелькнув, и не дает насладиться любящему; разве не похожа она на питье Тантала? Ведь часто, пока вкушают красоту, она уже исчезает, и любовник уходит, не найдя напитка; так и напиток Тантала похищается прежде, чем пьющий утолит жажду. И нельзя любовнику уйти от мальчика, испытав беспечальное наслаждение: оно оставляет его еще жаждущим“.

XXXVI

„Ты, Клитифонт, не знаешь главного в наслаждении, — сказал на это Менелай: — желанно всегда то, что не насыщает. Ведь

если чем-нибудь можно долго пользоваться, то оно, вследствие пресыщения, теряет прелесть, а то, что похищается, всегда ново и более процветает; в нем не стареющее наслаждение, и насколько оно сокращается во времени, настолько увеличивается благодаря желанию. И роза потому прекраснее других растений, что красота ее скоро скрывается. Ведь две красоты, думается мне, блуждают среди людей: одна небесная, другая всенародная. Красота небесная тяготится тем, что скована смертной оболочкой, и жаждет скорее уйти к небу; красота же всенародная брошена вниз и долго пребывает в телах. Если нужно привести и свидетельство поэта о вознесении небесной красоты, то послушай Гомера, который говорит:

Он-то богами и взят в небеса виночерпием Зевсу,

Отрок прекрасный, дабы витал среди сонма бессмертных.

Ни одна женщина не взошла на небо из-за своей красоты, а ведь Зевс вступал в связь и с женщинами; но Алкмена получила в удел скорбь и изгнание, Даная — ларец и море, Семела стала добычей огня. А полюбив фригийского отрока, Зевс отдает ему небо, чтобы тот жил вместе с ним и разливал нектар; прежняя прислужница лишилась должности, — ведь она, кажется, была женщина“.

XXXVII

Перебив его, я сказал: „Небесной кажется скорее красота женщин, которая не скоро гибнет. Ведь негибнущее близко к божественному, а то, что гибнет и подражает смертной природе — не небесное, а всенародное. Зевс полюбил фригийского отрока и возвел фригийца на небо, а красота женщин самого Зевса низвела с небес. Из-за женщины Зевс некогда мычал, из-за женщины он плясал в виде сатира и также для женщины превратился в золото. Пусть Ганимед разливает нектар, пусть Гера пьет с богами, — у женщины будет прислужником отрок. С жалостью смотрю я на его похищение. На него спустилась хищная птица, а он, уносимый, тем самым подвергся насилию

и был подобен повешенному. Постыдное зрелище: отрок, висающий в когтях! Семелу же не хищная птица вознесла на небо, а огонь. Не удивляйся тому, что посредством огня восходят на небо. Так ведь взошел и Геракл. Если же ты по поводу Данаи и ее ларца язвись, то почему о Персее молчишь? Алкмене достаточно и того дара, что ради нее Зевс выкрал три целых солнечных дня. Если же надо, оставив мифы, говорить о самой сладости обладания, то я — признаюсь — новичок в том, что касается женщин, так как имел дело только с теми, которые продают себя для любовных утех; кто-нибудь другой, посвященный, мог бы, вероятно, сказать больше. Все же я буду говорить, хотя у меня и мало опыта. У женщин при объятии тело мягкое, губы при поцелуях нежные. И [поэтому тело при сплетении совершенно погружается в ее плоть; она окутывает своего любовника наслаждением и накладывает на губы поцелуи, словно печать. Целует она искусно и делает поцелуй более сладким. Она хочет целовать не только губами, но и зубами помогает себе и насыщается устами целующего. В разгаре любовного дела она вне себя от наслаждения, широко раскрывает рот при поцелуях и безумствует. Языки же стремятся друг другу навстречу и, насколько могут, слияются взаимно расточать ласки; ведь, открывая поцелуй, ты усиливаешь наслаждение. А дойдя до цели любовной утехы, женщина тяжело дышит от знойного наслаждения; дыхание ее вместе с любовным дуновением, достигнув края уст, встречается с блуждающим и стремящимся сойти вниз поцелуем; и вот, поцелуй, повернув вместе с дыханием, следует за ним и поражает сердце, а оно, взволнованное поцелуем, трепещет. Если бы оно не было связано внутренностями, то, увлеченное, последовало бы за поцелуями. А у мальчиков поцелуи неискусные, объятия неумелые, Афродита — тщетная, наслаждения нет“.

XXXVIII

„Мне кажется, — сказал Менелай, — что ты не новичок, а старый знаток в любовных делах — столько женских ухищрений рас-

сыпал ты перед нами. В свою очередь выслушай о мальчиках. У женщины все поддельное — и разговоры, и уборы; если она и кажется прекрасной, то это — хлопотливое дело притираний, и красота ее — в мирре, краске волос и поцелуях. Если же ты лишишь ее всех этих хитростей, то она будет подобна галке из басни, с которой сняли чужие перья. А красота мальчиков не орошается благовониями мирры, хитрыми и чуждыми ароматами, всех женских притираний благовоннее отроков пот. Еще до любовных объятий можно с ними бороться в палестре и открыто сплетаться, и объятия не заключают в себе стыда. Тело мальчика не размягчает любовных объятий своей мягкостью; тела противятся друг другу и борются за наслаждение. В поцелуях нет женской хитрости; они не прельщают сладостными обманами на губах. Мальчик целует, как знает, и его поцелуи — дело не искусства, а природы. Вот подобие поцелуя мальчика: если бы нектар сгустился и стал устами, то такие бы поцелуи получил ты. Целуя, ты не мог бы пресытиться, но жаждал бы целовать еще, сколько можешь вместить, и не оторвал бы губ до тех пор, пока не стал бы избегать поцелуев от избытка наслаждения».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

На третий день нашего плаванья внезапный мрак разливается по ясному небу и затмевает свет дневной. Из глубины моря пробуждается ветер, бьет навстречу кораблю, и кормчий приказал повернуть рею. Матросы [поспешно стали это делать; они крепко завернули одну часть паруса в другую сторону выше реи, — ведь сильный порыв ветра не позволял спустить парус, — а другую его часть развернули вбок, соблюдая прежнюю меру, при которой ветер благоприятствовал кораблеводжению.

Парус надулся, наклоняя весь корабль, который кидался из стороны в сторону и падал стремглав; многим из нас казалось, что корабль все время будет вертеться на месте при каждом порыве ветра. И вот мы все перешли на самую высокую часть корабля, чтобы облегчить погружающийся в волны его край и хоть немного привести в равновесие другую его сторону своей тяжестью. Но мы ничего этим не достигли, так как палуба, подымаясь вверх, вздымала нас гораздо больше, чем опускалась под нашею тяжестью. И некоторое время, несмотря на такую качку, мы еще боролись с волнами за сохранение корабля в равновесии. Вдруг порыв ветра ударяет сбоку в корабль, который едва не погрузился в пучину: один его борт, лежавший до тех пор на волнах, устремился резким наклоном, другой, поднятый вверх, обвалился в море. И вот, страшный вопль и беготня поднялись на корабле: все опять поспешили на прежние места. Так повторялось часто, раза три, четыре,

и все мы кочевали с одного места на другое. Мы не успевали устроиться в одном углу, как бывали принуждены снова пуститься в обратный бег.

II

Втечение всего дня мы переносили наши пожитки с одного места корабля на другое и тысячу раз совершали этот длинный, утомительный пробег, беспрестанно ожидая смерти. Она, действительно, была недалеко. Едва лишь день начал клониться к вечеру, как солнце совершенно скрылось,—мы видели наши лица озаренными словно лунным светом. Вдруг заблистала молния, небо заревело громом, и воздух наполнился грохотом; снизу грохотали сталкивающиеся волны, а посредине, между небом и морем, свистели шумные ветры. Воздух оглашался как бы звуками труб, веревки на парусе оборвались, снасти скрипели под напором ветра. Ломающиеся корабельные доски приводили в трепет: как бы, понемногу, не выпали скрепы и не распался корабль. По всему кораблю были устроены плетеные навесы. Хлестал сильный ливень, мы укрылись под навесом и сидели там, точно в пещере, предоставив себя судьбе и отбросив надежды. Страшные волны со всех сторон, одни спереди, другие с кормы корабля, сталкивались друг с другом. Корабль беспрестанно то вздымался по гребням волн, то вдруг погружался в пучину. Волны были подобны то горам, то пропастям. Еще ужаснее были нависающие с обеих сторон гребни волн. Разъяренное море катилось через навесы и покрывало весь корабль. Вздвигающаяся волна касалась самых облаков, и навстречу кораблю издалека являлась ее громада; можно было ожидать, что, приблизившись, она задавит корабль. Бился с волнами ветер; мы не могли устоять на месте, так как корабль весь сотрясался. Воедино смешался общий крик, заклокотала волна, заревел ураган, стенания женщин, восклицания мужчин, приказания моряков,—трепета и ропота все полно. Кормчий приказал выбросить груз. Серебро и золото, без разбора, на-ряду с дешевыми

вещами—все полетело за борт. Многие из купцов везли свое имущество, возлагая на него большие надежды, но и они поспешили его кинуть в море. Корабль уже был лишен груза, но буря все свирепствовала.

III

Наконец кормчий, в отчаянии, бросает руль из своих рук, предоставляет судно морю, спускает лодку и, приказав матросам войти в нее, сам дает почин. Матросы прыгнули за ним по пятам. Здесь начался ужас и рукопашная схватка. Те, что уже спустились в лодку, старались перерубить канат, соединявший лодку с кораблем. Каждый из корабельщиков спешил прыгнуть в лодку, глядя на пример кормчего; поэтому они тянули канат, а те, что в лодке, не позволяли им спуститься. У них были топоры и ножи, и они угрожали оружием, если кто спустится. А те, что на корабле, давали им отпор, вооружившись чем попало: кто обломком старого весла, кто лавками для гребцов. Ибо на море насилие в обычае, и вот завязалась небывалая морская битва. Те, что в лодке, боясь потонуть из-за множества людей, пустили в ход топоры и ножи против прыгавших туда с корабля. А те прыгали, отражая удары палками и веслами. Другие, держась за борт корабля, соскальзывали вниз. Некоторые, попав в лодку, боролись с теми, кто там находился. Ибо ни дружба, ни уважение уже не связывали, каждый заботился только о своей безопасности, и ему не было никакого дела до других. Так-то великая опасность разрушает даже дружественную связь.

IV

Вдруг один из бывших на корабле, здоровенный парень, схватывает канат и притягивает лодку: она была уже близ корабля, и каждый приготовился, лишь только она приблизится, спрыгнуть туда. Двоим или троим это удалось, однако, не без потери крови, а многие, пытаясь спрыгнуть, обрушились с корабля в море. Матросы быстро отвязали лодку, перерубив

топором канат, и поплыли, куда их несло ветром. С корабля им вслед понеслись проклятия и пожелания потонуть. А корабль кувыркался и плясал по волнам; незаметно был он отнесен к подводной скале и треснул весь. От толчка мачта рухнула, задавив людей и обвалившись в море. Кто внезапно погиб в волнах, тем на долю выпало еще меньшее несчастье при такой беде, так как они не мучились страхом смерти. Ведь на море медленное ожидание опасности губит еще до действительной смерти. Очи, полные видом океана, терзаются беспредельным страхом, поэтому такая смерть еще хуже. Насколько безграничен моря простор, настолько поражен страхом смерти взор. Некоторые пытались удержаться на волнах, но безуспешно, так как разбились об утес. Многие, облепив сломанные доски, ныряли по волнам, словно рыбы, иные держались, чуть живые.

V

И вот, когда корабль распался, некое благое божество сохранило для нас часть его носа; мы с Левкиппой уселись там и носились по волнам моря. А Менелай и Сатир вместе с остальными корабельщиками ухватились за мачту и припали к ней. Мы увидели поблизости и Клиния, держащегося за рею, и услышали его крик: „Держись за бревно, Клитифонт!“. При этих словах, волна, набежавшая сзади, скрыла его. Мы подняли вопль, но в это самое мгновение волна устремилась на нас, но по счастливой случайности, когда мы уже были близко, она пробежала под нами, так что бревно было подхвачено верх гребнем волны, и мы снова увидели Клиния. Застонав, я воскликнул: „Сжался, владыка Посидон, смилуйся над оставшимися от кораблекрушения! Мы уже испытали страх смерти! Если ты хочешь нас погубить, не откладывая нашего конца. Одна и та же волна нас да погубит, и если суждено нам стать добычей морских чудовищ, то одна и та же рыба нас да поглотит, единое чрево нас да вместит, чтобы даже в утробе чудовища мы покоились вместе!“.

Спустя мгновение после этой молитвы, напор ветра прекратился, ярость волн улеглась. Море все было покрыто трупами. Менелай и его спутников волна быстро несет к берегу. Это было побережье Египта; разбойники занимали тогда всю эту область. А мы, под вечер, благодаря случайности, были принесены к Пелусию и с радостью вышли на землю, прославляя богов. Затем оплакали мы Клиния и Сатира, считая их погибшими.

VI

Есть в Пелусии священный кумир Зевса Касийского; кумир этот — юноша, с Аполлоном более схожий; и возраста такого же; одна рука простерта вперед и держит гранатовое яблоко; смысл этого плода мистический. Помолившись богу и испросив у него знамения о Клинии и Сатире — ибо вещим слывет этот бог — мы стали обозревать весь храм. В задней его храмине видели мы двойную картину, и художник на ней подписал свое имя. Художник этот — Евантей, а на картине изображены — Андромеда и Прометей, оба в оковах; поэтому-то, думается, и соединил их живописец, раз вообще родственно содержание этих картин. Утесы для обоих — узилище, звери — палачи; у него — зверь крылатый, у нее — из пучины морской. И помощь им оказывают два аргосца из единого племени: ему — Геракл, ей — Персей. Геракл пускает стрелу в Зевесову птицу, Персей чудовище Посидоново сражает. Первый целится, стоя на земле, второй в воздухе витает на своих крыльях.

VII

В утесе изрыто углубление в рост девы. Углубление это желает показать, что не чьими-либо руками оно сделано, но образовано самой природой. Ведь художник изобразил неровной эту выемку в камне, точно порождена она землей. Андромеда на виду стоит там. И зрелище это похоже — если смотреть лишь на красоту — на необычайного кумира изобра-

жение, если же на узы и чудовище, то — на внезапное погребение. А на лице девы красота смешана со страхом. Ибо щеки ее страх покрыл, а в очах цветет красота. Но и бледность щек не совсем была лишена пурпура: она слегка окрашена румянцем. Да и цветущий блеск очей не чужд тоске, но подобен недавно увядшим фиалкам. Так украсил ее живописец благообразным страхом. Руки простерты к утесу; узы влекут их вверх и приковывают к скале; и кисти рук свешиваются, словно виноградные гроздья. Локти девы, белизны несмешанной, переходили в синеву свинцовую, и казалось, что пальцы мертвы. Так окована дева, и ждет ее смерть. Стоит она, брачным нарядом украшенная, точно Аидонею невеста назначенная. До пят хитон, белый хитон, ткань тонкая, подобно паутине, не из руна овечьего, а из пуха птичьего: такую пряжу индийские женщины берут с дерев. А чудовище пред лицом девы подымается из пучины, раскрывая море. Большая часть его тела покрывается волной, лишь голова над морем возвышается. Но под влагой волны нарисована его хребта видимая тень, чешуй переливы, шеи извивы, колючее терние плавника, хвоста изгиб. Челюсть огромной длины; разверста вся, вплоть до скрепления плеч, и сразу же — чрево. Посредине между чудовищем и девой изображен Персей, спускающийся по воздуху; спускается он к зверю, весь нагой, только вокруг плеч плащ и на ногах подле крыльев — сандалии. Убором голова его покрыта; этот убор намекает на шлем Аида. Левою рукой он держит голову Горгоны и простирает ее вперед, словно щит. А голова страшна и своим цветом, глаза вытаращены, подняты дыбом волосы на висках, шевелятся змеи. Так-то грозна она даже на картине. Этим вооружена левая рука Персея; а в правой — другое оружие: двоевидное лезвие, разделяющееся на серп и на меч. Ведь рукоятка начинается сперва общая, и до половины лезвия это — меч, а затем идет раздвоение: одна часть заостряется, другая искривляется. И заострение остается мечом, как и раньше, а искривление серпом становится, чтобы одним ударом и врага сразить, и за рану зацепить. Так представлена Андромеда.

VIII

Рядом находится изображение Прометея. Прикован Прометей железом к скале, вооружен Геракл луком и копьем. Птица чрево Прометея терзает, припав к разверстой ране. И клюв ее погружен в прорыв; кажется, что она разрывает рану и ищет печень. А печень видна на столько, сколько раскрыл художник отверстие раны. Вонзает птица в бедро Прометея острие своих когтей. А тот от боли весь содрогается, бок его сжимается, и бедро свое он вздымает на свою беду, — ведь этим он глубже в печень привлекает птицу. Одна нога Прометея вытянута вниз судорогой и пальцами заостряется.

Весь облик Прометея обнаруживает муку. Искривляются его брови, содрогаются губы, видны зубы. Ты пожалел бы эту картину, словно ей самой больно! Ободряет страдальца Геракл. Он, стоя, целится в Прометеева палача. Приложена к луку стрела. Левою рукой он с силой простирает лук вперед, к своей груди притягивает правую руку; натягивая тетиву, напрягает он свои мышцы. И все вместе сгибается: лук, тетива, стрела, правая рука. Стягивается от тетивы лук, вдвойне закручивается от руки тетива, склоняется к груди рука. Прометей полон надежды и страха. Он смотрит и на свою рану, и на Геракла, и желает полными очами его видеть, но половину зрения отвлекает мука.

IX

И вот, пробыв в Пелусии два дня и оправившись от бед, мы наняли египетский корабль, — у нас было немного денег, которые мы случайно сохранили зашитыми в пояс — и поплыли по Нилу в Александрию, решив пробыть там всего дольше, в надежде найти своих друзей, быть может занесенных туда. Когда мы очутились у какого-то города, внезапно мы слышим страшный крик. Матрос, воскликнув: „Разбойники!“ поворачивает корабль, чтобы плыть обратно. Но уже весь берег был покрыт ужасными дикарями. Все они огромного роста, темного цвета, но не темно-

черные, как индийцы, а такие, какими бывают не чистокровные эфиопы; у всех головы голы, ноги узкие, тело тучное. Все они говорили на варварском языке. Наш кормчий, воскликнув: „Мы погибли!“, остановил корабль, а надо сказать, что река в этом месте очень узка. И вот, четверо разбойников, взойдя на корабль, захватывают все, что там было, уносят наши деньги, а нас самих запирают в какую-то хижину и удаляются, приставив к нам стражей, чтобы те наутро отвели нас к „царю“; дело в том, что таким именем называют главаря разбойников. Этот путь длится два дня, как мы услышали от захваченных вместе с нами.

X

Наступила ночь; мы улеглись, как были, в оковах; заснула стража; тогда только было возможно начать мне оплакивать Левкиппу; дав себе отчет в том, скольких бед стал я для нее виновником, возопил я в глубине души, но рассудком подавил свой вопль в тиши:

„О великие боги и божества, — воскликнул я, — если вы где-нибудь существуете и нас слышите! Чем мы провинились, что в несколько дней на нас обрушилось столько бед? А теперь вы предали нас разбойникам египетским, чуждым сострадания. Ведь разбойника эллина звуками голоса еще можно сломить, мольбою смягчить. Ибо словом нередко вызывается сострадание: язык мольбою помогает душевной скорби, смиряя гнев в душе слушателя. Но теперь, на каком языке нам свою мольбу излить? Какими клятвами смягчить? Если кто велеречивей даже сирен, и того эти убийцы не поймут. Остается мне умолять только киванием головы и движениями рук! О, злосчастье! Уже теперь примусь я за надгробный плач. О себе самом, даже если бы несчастье было еще чрезмернее, я меньше скорблю, но о тебе, Левкиппа, какими устами надгробный плач воспою? Какими очами слезы пролью? О, верная в неизбежности любви, о, примерная в нежности к несчастному возлюбленному! Как прекрасно твоей свадьбы

убранство! Брачный чертог — узилище, ложе — земля, ожерелье и запястья — веревки и петля, дружка твоя — разбойник, спящий здесь рядом! Вместо брачных песен, кто по тебе поет надгробный плач? Напрасно мы тебя, о, море, все вместе возблагодарили! Я упрекаю тебя за человеколюбие! Ты оказалось добрее к тем, кого убило, а спасши нас, ты еще более нас погубило! Из зависти ты отказало нам в смерти не от разбойников!“

XI

Так горевал я в тишине, но плакать не мог. Ведь такова особенность очей при великих несчастьях. Ибо при умеренном горе слезы текут в изобилии, служат страдальцам мольбою, обращенною к их обидчикам, и облегчают скорбников, удаляя как бы припухлость их раны. Но при чрезмерном горе нет слез; они изменяют очам. Их притоку препятствует скорбь: она останавливает их разлив и с собою уносит вглубь. Отклоненные от пути к очам, слезы стекают в душу и более тяжелой делают ее рану. И вот я обращаюсь к Левкиппе, которая все время молчала: „Что ты молчишь, возлюбленная моя, и слова мне не молвишь?“

„Потому что у меня, Клитофонт, — ответила она, — голос умер еще раньше души“.

XII

Так разговаривая, мы и не заметили наступления дня. Какой-то всадник приближается, косматый, дико-всклоченный. И конь его с косматою гривой, неоседланный, невзнузданный: ведь таковы кони разбойников. Этот всадник прибыл от разбойничьего главаря.

„Если есть, — сказал он, — среди пленников девушка, так ее велено отвести к богу и принести в очистительную жертву за войско“.

Стража сейчас же направилась к Левкиппе, а она обхватила меня и припала ко мне со стоном. Одни из разбойников стали

оттаскивать, другие — бить: оттаскивали Левкиппу, били меня. Схватив и подняв на воздух, ее уносят. А нас, остальных узников, погнали не торопясь.

XIII

Когда мы отошли на два стадия от деревни, слышится громкий воинский клич, звук трубы, и показывается военный отряд, составленный из тяжеловооруженных. Завидев отряд, разбойники поместили нас в середину и стали ожидать приближения воинов, готовясь дать им отпор. Те скоро подошли, в числе пятидесяти, все тяжеловооруженные, у одних щиты до пят, у других — круглые. Разбойников было гораздо больше; схватив с земли комья, они стали их бросать в воинов. Любой стрелы опаснее комья египетские: крепкие, цепкие, неровные. Неровность эта образуется острыми краями камней. Поэтому такой удар одновременно причиняет две беды: рану и опухоль, как от камня, и порез, как от стрелы. Но воины, прикрывшись от камней щитами, мало обращали внимания на бросающих. И вот, когда разбойники устали бросать эти комья, воины открывают фалангу, оттуда выбегают легковооруженные люди, каждый с копьем и мечом, начинают сразу же метать дротики, и никто из них не промахнулся. Затем обрушились тяжеловооруженные. Битва была упорной: удары с обеих сторон, раны, резня. Недостаток численности покрывался опытностью воинов. А мы все, пленники, улучив мгновение, когда разбойникам приходилось плохо, сбегаясь вместе, прорываемся сквозь их фалангу и перебегаем к их противникам. Воины сначала, по неведению, пытались и нас убивать, но, когда заметили нашу обнаженность и оковы, сообразили, в чем дело, пропустили нас сквозь свои ряды, отправили в тыл и позволили передохнуть. В это время подъехало много всадников. Приблизившись, они растянулись на оба крыла фаланги, окружили разбойников, сомкнув их в тесное кольцо, и стали их истреблять. Разбойники частью полегли мертвыми, частью, полумертвые, сражались. А остальных забрали в плен живыми.

XIV

День клонился к вечеру. Стратег стал расспрашивать каждого из нас отдельно, что мы за люди и как мы были захвачены. Каждый рассказывал о себе; я тоже сообщил свою повесть. Узнав обо всем, стратег приказал следовать за войском и сам обещал дать нам впоследствии оружие. Он решил, подождав прихода войска, напасть на главный разбойничий стан, в котором, по сведениям, было до десяти тысяч человек. Я попросил коня, зная, что я хороший ездок. Когда коня привели, я заставил его проскакать кругом и ритмически показывал военные приемы, так что даже стратег меня очень похвалил. Он пригласил меня в тот день к своему столу и за обедом расспрашивал подробно и, слушая мой рассказ, жалел меня. Человек, слушая повесть о чужой беде, и сам как-то проникается состраданием и жалостью, а жалость часто ведет к дружбе. В душе, размягченной горестным рассказом, потрясенной чужим страданием, сожаление понемногу сменяется дружбой, а скорбь — жалостью. Мой рассказ так потряс военачальника, что он сам прослезился. Но делать нам было более нечего: Левкиппа ведь находилась в руках разбойников. Стратег дал мне раба-египтянина для услуг.

XV

На следующий день войско стало готовиться к переходу и начало засыпать ров, препятствовавший пути. А мы видели, что по ту сторону рва стояли во всеоружии большие силы разбойников. Какой-то самодельный жертвенник был у них, сооруженный из глины, и находилась гробница близ жертвенника. Два каких-то человека ведут девушку, руки которой связаны позади. Кто они, я не различил, только заметил, что были они вооружены; в девушке я узнал Левкиппу. Они совершают возлияние над ее головой, обводят ее кругом жертвенника, кто-то наигрывает на флейте, а жрец, повидимому, исполнял египетскую песнь: ведь расположение его уст и сокращения щек показы-

вали, что он поет. Затем, по данному знаку, все далеко отходят от жертвенника. Один из юношей повергает девушку навзничь, привязывает ее к кольям, вбитым в землю, как это делают ваятели с Марсием, привязанным к дереву. Затем, схватив меч, погружает ей в сердце и разрезает тело до самого низа живота. Внутренности сразу вывалились; вытащив их руками, они кладут на жертвенник и, когда внутренности сжарились, разрезают, делят между всеми и поедают. При виде этого, воины и военачальник вскрикивали при каждом их действии и отвращали свои взоры от этого зрелища. Но я, вопреки ожиданию, сидел и смотрел на все это. На меня нашло остоленение: чрезмерное несчастье, как громом, оглушило меня. Быть может, и рассказ о Ниобе не был ложным: она тоже испытывала такое состояние при гибели своих детей, а ее неподвижность заставила думать, будто она обратилась в камень. Когда дело было окончено, разбойники, положив тело в гробницу, оставили его там, привалили крышку гроба, разрушили жертвенник и без оглядки пустились бежать, ибо так они должны были поступать по вещанию жреца.

XVI

С наступлением вечера весь ров уже был засыпан: воины, перейдя на другой берег, стали располагаться на ночлег немного выше рва и принимались за ужин. Военачальник стал меня успокаивать, но я был безутешен. Около первой ночной стражи, выждав, пока все заснут, я отправляюсь, захватив меч, чтобы покончить с собою у гробницы. Очутившись вблизи нее, я обнажаю меч и восклицаю:

„Страдалица Левкиппа, ты несчастнее всех людей! Я скорблю не только о твоей смерти, не о том, что на чужбине ты умерла, не о насильственном заклании твоём, — но мне горько сознавать, что ты была игралищем злой судьбы, что ты стала очистительной жертвой за нечистых людей, что ты, о горе мне, еще жила, когда тебя рассекали, и все это рассечение видеть могла! Мне горько, что злосчастный жертвенник и эта могила поделили

между собою тайны твоей утробы и упокоение гроба. Тело твое положено здесь, но внутренности твои где? Если бы их истребил огонь, было бы лучше! Ныне же останков твоих погребение для разбойников насыщение. О, гнусное шествие с факелами вокруг жертвенника! О, неслыханные таинства яств! И боги могли с высоты взирать на такое жертвоприношение, и огонь не погас, но вынес осквернение, взвился и возносил подобный тук к богам. Так прими же от меня, Левкиппа, возлияние, тебя достойное!“

XVII

Сказав это, я занес меч, чтобы покончить с собою на месте заклания Левкиппы. Вдруг вижу — ночь была лунная — два чело- века изо всех сил бегут прямо ко мне. Думая, что это разбойники, я приостановился: пусть они меня убьют. В это мгновение они приблизились и оба закричали, — то были, оказывается, Менелай и Сатир. Хотя я так неожиданно увидел своих друзей живыми, я не обнял их и не был поражен радостью: настолько меня оглушало мое горестное несчастье. Друзья схватили меня за правую руку и пытались отнять меч.

„Ради богов, — воскликнул я, — не лишайте меня завидного удела: прекрасной смерти, лучшего исцеления от бед. Все равно, если даже вы меня принудите, я не могу больше жить, если Левкиппа так ужасно погибла! Вы отнимете у меня этот меч, но меч моей скорби вонзился глубоко; он режет меня понемногу. Или вы хотите, чтобы конец моих дней прошел в бесконечном заклании?“

На это Менелай сказал: „Ну, если ты из-за этого хочешь умереть, то пора тебе удержать свой меч: твоя Левкиппа сейчас оживет“.

Я взглянул на него. „Да ты еще и смеешься надо мной, — сказал я, — мало тебе моего горя. Хорошо же ты, Менелай, помнишь о Зевсе Гостеприимце!“

Но Менелай постучал по гробнице. „Раз уж Клитофонт мне не верит, — сказал он, — так ты, Левкиппа, засвидетельствуй, жила ли ты“.

С этими словами он два-три раза ударил по гробнице, и вдруг я слышу из глубины едва внятный голос. Внезапно меня охва-

тила дрожь, я взглянул на Менелая; мне казалось, что он чародей. А Менелай тем временем уже открыл гробницу, и из глубины вышла Левкиппа. О, боги, какое страшное, потрясающее зрелище: вся ее утроба была разверста и опустошена! Ринувшись, припала она ко мне, мы слились в одном объятии и оба лишились чувств.

XVIII

Лишь только я пришел в себя, я спросил Менелая: „Не откроешь ли ты мне, в чем тут дело? Разве не на Левкиппу я взираю, не ею ли я обладаю, не внимаю ли я ее речам? Так что же это я видел вчера? Или все вчерашнее было лишь грезой или мы грезим сейчас. Но нет: вот ее настоящий живой поцелуй, сладкий, как все поцелуи Левкиппы“.

„А сейчас, — ответил Менелай, — и внутренности ей вернуться. и груди ее срастутся, и ты увидишь ее невредимой. Но закрой свое лицо: ведь я призову Гекату на помощь“.

Я поверил ему и закрыл лицо. Менелай начал ворожить, приговаривая какое-то заклятье, и в то же время снимал с утробы Левкиппы все чудесные приспособления. Лишь только Левкиппе вернулся ее прежний вид, Менелай говорит мне: „Теперь открой лицо“. Я через силу и со страхом, — ведь я действительно думал, что Геката здесь среди нас, — но все же отнял от лица руки, и вдруг вижу Левкиппу целой и невредимой. Я поразился еще более и с мольбой сказал Менелая:

„Дорогой Менелай, если ты служитель богов, умоляю тебя, скажи, в какой я нахожусь стране и что это такое я вижу?“

„Менелай, — воскликнула Левкиппа, — перестань морочить его и расскажи, каким образом тебе удалось обмануть разбойников“.

XIX

Менелай стал рассказывать: „Ты знаешь, что я родом египтянин, — ведь я еще раньше на корабле сказал тебе об этом. Большая часть моей собственности находится около этого поселка. И его

старшины — мои знакомые. Когда нас постигло кораблекрушение, волны унесли меня к побережью Египта; вместе с Сатиром я был захвачен разбойниками, стоявшими здесь на страже. Лишь только я был приведен к их начальнику, тотчас же некоторые из разбойников узнали меня, освободили от оков и стали советовать мне мужаться и приняться за их ремесло, как это казалось им естественно. Я начал просить и за Сатира, как за моего друга.

„Отлично, — отвечали разбойники, — но только сперва выкажи свою отвагу“.

В это время они получили ответ оракула, гласивший, что надо принести в жертву девушку, таким образом подвергнуть очищению разбойничий стан и вкусить от печени этой жертвы, остальное же тело предать могиле и удалиться, чтобы место жертвоприношения заняли неприятельские войска. Об остальном расскажи ты, Сатир, ведь моя речь только до сих пор“.

XX

Сатир стал рассказывать: „Когда меня насильно привели в лагерь, я плакал, о господин мой, я горевал, расспрашивал о Левкиппе и просил Менелая так или иначе спасти девушку. Благое божество нам содействовало. Накануне жертвоприношения мы сидели на берегу моря, скорбные, и обсуждали наше положение. Некоторые из разбойников, заметив блуждавший, из-за незнания местности, корабль, направились к нему. Бывшие на корабле поняли, куда они попали, и попытались повернуть обратно. Но так как разбойники предупредили их намерение, они обратились к обороне. Среди них был один из тех, кто в театрах представляет гомеровские поэмы. И вот он, вооружившись гомеровским убором и убрав так своих спутников, попытался сражаться. Против первых нападений они оборонялись очень успешно. Но, при приближении еще нескольких разбойничьих лодок, они затопили свой корабль, погубив этим и тех, кто на них напал. Какой-то ящик при этом незаметно был унесен волнами; вместе с обломками корабля он был течением прибит к нам. Менелай

поднимает его, отходит вместе со мной поодаль, — ведь он думал, что внутри ящика находится что-нибудь ценное, — открывает его, и мы видим плащ и меч с рукояткой, длиной в четыре пяди, а лезвие у этой рукоятки очень короткое, не больше трех пальцев. Менелай, подняв меч, нечаянно повернул его лезвие вниз, и вдруг этот маленький меч, точно в рукоятке была нора, выходит наружу на столько, на сколько велика была рукоятка. Когда же Менелай обратно повернул меч, лезвие сейчас же спряталось внутрь. Видимо, этим орудием пользовался его несчастный владелец при представлении в театре убийств.

XXI

Я и говорю Менелая: „Бог нам поможет, если ты захочешь сделать доброе дело. Ведь мы будем в состоянии спасти девушку незаметно для разбойников! Послушай, это можно исполнить: взяв очень тонкую шкуру овцы, сошьем ее в виде мешка, величиною с человеческое чрево; затем, наполнив звериными внутренностями и кровью, зашьем это мнимое чрево, чтобы внутренностям было трудно выпасть. Убрав таким образом девушку, наденем сверху длинное платье, завяжем повязки и пояс и так-то скроем этот убор. Во всяком случае вещание оракула очень удобно для того, чтобы скрыть нашу уловку. Ведь оракул гласит: „В полный убор одетую деву надо рассечь по середине ее одежды“. Ты видишь хитрое устройство этого меча. Когда его упирают в тело, лезвие уходит в рукоятку, точно в ножны. А зрителям кажется, будто лезвие погрузилось в тело, между тем как оно ушло в нору рукоятки, и снаружи остается лишь кончик острия, чтобы разрезать мнимое чрево и коснуться рукояткой кожи закалаемой жертвы. Когда же лезвие извлекают из раны, меч снова выходит из своей норы, по мере того как приподымают рукоятку; зрители будут введены в заблуждение. Ведь кажется, будто меч настолько вонзился при заклинании, насколько он выходит наружу, благодаря этому хитрому приспособлению. Если это так случится, разбойники не распознают нашей уловки, так как

чрево будет покрыто кожей, и внутренности при заклинании вывалятся; мы их оттуда возьмем и возложим на жертвенник. Затем разбойники больше не приблизятся к телу, а мы положим его в гробницу. Ты слышал, как начальник разбойников недавно сказал, что надо нам чем-нибудь обнаружить свою отвагу. Поэтому ты можешь подойти к нему и обещать, что мы выкажем себя“.

При этих словах я с мольбою призывал Зевса Гостеприимца и припоминал общую нашу трапезу и общее кораблекрушение“.

XXII

„Трудное задумал ты дело, — отвечал этот достойный человек, — но, ради друга, если даже понадобится умереть, опасность — прекрасна, смерть — сладостна“.

„Я думаю, — прибавил я, — что жив и Клитофонт. На мои расспросы девушка отвечала, что она его покинула в оковах, среди прочих пленников, захваченных разбойниками. А те из разбойников, что убежали к своему начальнику, говорили, что все их пленники во время битвы перебежали в неприятельский лагерь. Если это так, Клитофонт будет тебе очень благодарен, что ты из жалости к несчастной девушке выручишь ее из такой беды“.

Этими доводами я убедил Менелая, и Судьба содействовала нам. Я занялся изготовлением подходящего убора. Лишь только Менелай собрался завести с разбойниками речь о жертвоприношении, его предупредил, по счастливой случайности, начальник разбойников.

„У нас есть обычай, — сказал он, — чтобы за священнодействие сперва принимались новопосвященные, в особенности когда требуется совершить человеческое жертвоприношение. Так вот, тебе надо приготовиться к завтрашнему жертвоприношению, а вместе с тобой должен принять посвящение и твой раб“.

„Отлично, — ответил Менелай, — мы приложим все старание, чтобы не оказаться хуже вас. Но нам нужно самим убрать девушку так, чтобы это было удобно для рассечения“.

„Жертва, — ответил начальник разбойников, — в вашем распоряжении“.

Мы начинаем наедине убирать девушку вышеуказанным способом; советуем ей мужаться, сообщаем все подробности, указываем, что ей придется пробить внутри гробницы, после пробуждения, еще в течение целого дня.

„Если же нам что либо помешает, то спасайся сама и укройся в лагере воинов“.

Сообщив ей все это, мы ведем ее к жертвеннику. Остальное ты знаешь“.

XXIII

Услышав это, я был охвачен разнообразными чувствами и находился в затруднении, чем мне отблагодарить Менелая. И вот, как это обычно делается, я припал к нему, целовал, как перед богом преклонился пред ним, и в душе у меня разлилась великая радость. Когда выяснилось, что с Левкиппой все обстоит благополучно, я спросил:

„А с Клинием что случилось?“ — „Не знаю, — ответил Менелай, — сразу после кораблекрушения я увидел, что Клиний ухватился за рею, но куда его унесло, не знаю“.

И вот, среди своего восторга, я застонал. Ибо завистливое божество отказало мне в полной радости: Клиния, который нигде не показывался из-за меня, который после Левкиппы был моим властелином, — его одного из всех нас поглотило море, лишив его не только жизни сохранения, но и чести погребения.

„О буйное море, ты отказало нам в целостном действе твоего человеколюбия!“

И мы все вместе отправились к лагерю, вошли в мою палатку и провели там остальную часть ночи, что не осталось скрытым от очень многих.

XXIV

Лишь только рассвело, я повел Менелая к стратегу и рассказываю ему обо всем. Тот разделяет мою радость и дружески

принимает Менелая. Он задает вопрос, как велики силы противника. Менелай отвечал, что все близлежащее поселение полно отчаянными людьми; стан разбойничий весь в сборе, и разбойников несчетное множество. Стратег сказал:

„Ну, пяти тысяч наших воинов хватит на двадцать тысяч разбойников. Кроме того, еще придут две тысячи из числа тех, что охраняют от варваров области Дельты и Града Солнца“.

Не успел он кончить, как вбегает слуга и сообщает, что из Дельты прибыл гонец, объявивший, что двухтысячное войско пробудет на месте еще пять дней. Хотя набег варваров и прекратился, но как раз в то время, когда войско собиралось выступить в путь, к ним прилетела священная птица, неся могилу своего отца; поэтому было необходимо отложить выступление именно на столько дней.

XXV

„Какая птица, — спросил я, — удостоилась такого почета? И что за могилу она принесла?“

„Феникс — этой птицы имя, рода она эфиопского, с павлина величиной. По красоте оперения павлин уступает ей. Ведь крылья ее — золото, смешанное с багрецом. Гордится она Солнцем, владыкой своим, что обличает и голова ее, окруженная лучезарным венцом. Образ Солнца, — этот венец. Она иссиня-черная, розам подобная: превосходное зрелище. Лучами окружена: они крыльев Феникса восход. На долю эфиопам приходится его жизни явление, на долю египтян — его погребение. Едва только Феникс умрет, — это случается лишь в преклонном возрасте, — сын уносит птицу к нильским берегам, соорудив ей могилу. Он берет мирры благовоннейшей ком, достаточный по величине для гробницы Феникса, выдалбливает и углубляет посредине, — углубление и служит гробницей умершему. Удобно положив птицу в этот гроб и закрыв отверстие землей, ее сын летит к Нилу, неся сооружение свое. За ним следует хоровод других птиц, словно копьеносцы, и птица подобна царю, отправляющемуся в дорогу,

и не ошибается на пути ко Граду Солнца никогда. Там обита-
лище мертвеца. Птица останавливается на высокой скале, озирая
все вокруг, и выжидает служителей божества. И вот приближается
египетский жрец, в руках его книга из сокровенного святилища,
и он испытует птицу согласно письмам. И знает птица, что ей
не верят; птица обнаруживает свои тайные приметы, показывает
мертвеца и держит над его гробом хитроумную речь. Тогда чада
жрецов Солнца, приняв скончавшуюся птицу, предадут ее погре-
бению.

Так-то при жизни Феникс — эфиоп, по роду своего насыще-
ния, а после смерти — египтянин, по способу погребения“.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Стратег, узнав о приготовлениях врагов и замедлении союзни-
ков, решил вернуться в селение, из которого мы выступили, и ждать
там их прихода. Мне с Левкиппой отвели дом немного выше
ставки военачальника. Как только мы в него вошли, я обнял
Левкиппу и хотел показать себя мужчиной, но она не позволила
мне этого. „До каких же пор, — сказал я, — мы будем лишать себя
тайнств Афродиты? Разве ты не видишь, как все происходящее
неожиданно? Кораблекрушение и разбойники, жертвоприношение
и покойники! Но, пока мы в безветрии Судьбы, воспользуемся
этим временем, прежде чем не постигло нас худшее“. Но Лев-
киппа отвечала: „Теперь нельзя это совершить. Третьего дня, когда
я плакала, осужденная на заклятие, ко мне явилась во сне богиня
Артемиды и сказала: „Не плачь теперь, ты не умрешь. Я буду
твоей заступницей. Ты останешься девственницей, пока я не устрою
твою свадьбу, и не кто другой, как Клитон, женится на тебе“. Я
от промедления горевал, а от надежд на будущее ликовал.
Услышав об ее сновидении, я вспомнил, что и сам видел очень
похожий сон. Мне снилось в минувшую ночь, что я видел храм
Афродиты, и внутри его стоял кумир богини. Когда же я подо-
шел поближе, чтобы помолиться, двери закрылись. И вот мне,
в моей печали, явилась жена, похожая на кумир богини, и ска-
зала: „Теперь тебе не дозволено проникнуть в храм; если же ты
немного подождешь, я не только отворю тебе его двери, но
и сделаю тебя жрецом богини“. Я рассказал Левкиппе про этот

сон и уже не пытался овладеть ею насильно. Сравнивая же мой сон со сном Левкиппы, я сильно волновался.

II

Пока все это происходит, Хармид (так звали стратега) начал заглядываться на Левкиппу, увидав ее по следующему поводу. Случилось так, что воины поймали достопримечательного речного зверя. Египтяне зовут его нильским конем. Он действительно является конем, как на это указывает название, и похож на него брюхом и ногами; только копыта у него раздвоены. Величиной конь с самого большого быка, хвост короткий и лишен волос, так же как и остальное тело. Голова кругла и немалых размеров, скулы похожи на конские; ноздри широко раскрыты и испускают огневой дым, как от огненного источника. Челюсть широка, таких же размеров, как и скулы; пасть свою он разевает до висков. Зверь имеет также кривые клыки: по своему виду и положению они похожи на кабаньи, но в три раза больше.

III

Стратег позвал нас посмотреть на зверя; вместе со всеми пошла и Левкиппа. Наши взоры были устремлены на зверя, а взоры стратега — на Левкиппу: он тотчас же пленился ею. Желая удержать нас как можно дольше, чтобы порадовать свои очи, стратег старался затянуть разговор. Сначала он нам стал рассказывать о свойствах этого животного, а потом о способе его ловли. „Это животное, — говорил он, — весьма прожорливо: оно уничтожает целые посевы. Ловят его с помощью такой хитрости: обнаружив его логовище, роют яму и прикрывают ее сверху тростником и землей. Внизу, под этим приспособлением из тростника, ставят деревянную клетку с открытым входом и подстерегают падение зверя. Лишь только он ступит на тростник, тотчас же проваливается в клетку, как в нору. Охотники выскакивают и захлопывают вход. Так его и ловят, потому что силою такого зверя никому не одолеть. Вообще он очень силен, и кожа у него,

как видите, толстая, так что он не чувствует ударов оружия. Это своего рода египетский слон. Силой он уступает только индийскому слону“.

IV

Тут Менелай спросил: „Ну, а слона-то ты видел когда-нибудь?“ — „Еще бы, — ответил Хармид, — и знающие люди мне рассказывали удивительные вещи об его появлении на свет“. — „А мы до сих пор, — сказал я, — видели его только на картине“. — „Я могу рассказать вам, — продолжал он, — ведь время у нас есть. Мать его носит очень долго. Целые десять лет образуется плод, и по истечении столь долгого времени детеныш рождается уже старым. Поэтому-то, думаю я, он сильно растет, всякого в бою согнет, много жрет и долго живет. Продолжительность его жизни, говорят, больше, чем у гесиодовой вороны. Челюсть у слонов такая, как у быков голова. Видя его пасть, ты сказал бы, что в ней два рога, а на самом деле это его изогнутые зубы. Между зубами у него торчит хобот, видом и величиной подобный трубе; он очень послушен слону. Слон подхватывает хоботом пищу и все, что ни попадется съедобного. Если что-нибудь годится слону в пищу, хобот тотчас обхватывает это и, загибаясь к челюсти, направляет в рот; если же он видит то, что может пригодиться человеку, то обвивает хоботом добычу, поднимает ее и протягивает вверх в дар хозяину. Сидит же на нем какой-то эфиоп, невиданный всадник. Слон льнет к нему, боится его, голоса его слушается и ударам повинует: удары наносят ему железной секирой. Однажды я видел совсем невероятную вещь: один эллин всунул свою голову в самую середину слоновой пасти. Слон разинул пасть и стал обдавать этого человека своим дыханием. Я дивился обоим: человеку за его дерзновение, а слону за его снисхождение. Этот эллин рассказывал потом, что он заплатил животному вперед, а оно обдает его за это чуть ли не индийскими благоуханиями. Это служит лекарством от головной боли. Слон знает о своих целебных свойствах и даром не откроет пасти: он

заносчивый врач и требует плату вперед. Если ему заплатить, он с благодарностью повинуется. Тогда он разевает свою пасть и держит ее открытой, сколько угодно человеку. Ведь знает он, что продал свой аромат“.

V

„Откуда,—спросил я,—берется такое благовоние у столь безобразного зверя?“—„Такова уж его пища,—ответил Хармид.—Индийская земля лежит по соседству с Солнцем. Индийцы первыми видят восходящего бога: и свет его у них теплее, и кожа их сохраняет огненную окраску. У эллинов растет цветок такого же оттенка, как кожа эфиопа; у индийцев же это не цветок, а листок, как у нас листья растений. Там этот листок скрывает свои испарения, потому там он не ценится. А скрывает он их либо потому, что не хочет хвастать собой перед знатоками, либо потому, что отказывает в этом удовольствии своим соотечественникам. Но стоит ему оказаться за пределами своей родины, как его похищенная сладость открывается, сам он цветком вместо листка становится и в благовоние облекается. Это черная роза индийцев. Она служит пищей слонам, как трава—нашим быкам. Кормясь ею с самого рождения, слон весь пропитан запахом своей пищи и испускает благоуханнейшее дыхание, служащее источником его аромата“.

VI

Когда мы удалились, кончив наш разговор со стратегом, он, немного помедлив, подзывает Менелая и, взяв его за руку, говорит ему: „Я знаю, что ты можешь быть хорошим другом, судя по тому, что ты сделал для Клитопонта, во мне ты также найдешь не худшего друга. Я прошу у тебя услуги, легкой для тебя, мне же ты, если захочешь, спасешь мою жизнь. Левкиппа меня погубила: спаси ты меня! Она еще не заплатила тебе за спасение своей жизни; моя же награда будет:—тебе за услугу пятьдесят золотых, а ей, сколько она захочет“. Менелай отвечает:

„Владей ты своими золотыми и береги их для тех, кто продает свои услуги, я же, как друг, постараюсь быть тебе полезным“. Сказав это, он идет ко мне и рассказывает все бывшее. Мы стали советоваться, что нам делать. И решили его обмануть. Ведь противоречить ему было бы небезопасно: он мог употребить насилие, а бежать было невозможно, так как кругом нас были разбойники, а в его распоряжении находилось много войска.

VII

Немного погодя, Менелай подошел к Хармиду. „Дело сделано,—сказал он,—хотя Левкиппа сначала упорно отказывалась. Но, когда я стал просить ее об этом и напомнил об оказанном мною ей благодеянии, она согласилась. Но Левкиппа справедливо просит поларить ей небольшой срок, пока она не придет в Александрию. Здесь ведь простое селение, все происходящее на виду, и на-лицо много свидетелей“.—„Долго же мне ждать твоей услуги,—сказал Хармид.—Кто откладывает свое наслаждение на войну? Разве воин, держа в руках оружие, знает, останется ли он в живых? Столько дорог ведут к смерти; выпроси у Судьбы безопасность для меня, и я готов подождать. Я сейчас отправляюсь воевать с разбойниками, а в моей душе идет другая война. Меня осаждает воин, вооруженный луком, вооруженный стрелами. Я побежден, я исполнен стрел! Скорей, друг, позови врача! Рана не терпит. Я намереваюсь истреблять врагов огнем, а новый враг зажигает против меня другие факелы. Погаси, Менелай, сперва этот огонь. Любовное сплетение служит прекрасным предзнаменованием перед воинской схваткой. Пусть Афродита отошлет меня к Арею“.—„Видишь ли,—сказал Менелай,—не легко ей укрыться от мужа, здесь находящегося и к тому же любящего ее“.—„Но Клитопонта легко сплавить“, сказал Хармид. Менелай, видя Хармидово рвение и боясь за меня, быстро придумывает правдоподобную отговорку и говорит ему: „Хочешь знать истинную причину отсрочки? У нее вчера начались месячные, и она не должна сходиться с мужчи-

ной". — „Так подождем здесь, — отвечал Хармид, — три или четыре дня; ведь этого достаточно. А сейчас что можно, то я у нее и прошу. Пусть она показывается мне на глаза и разговаривает со мною. Я хочу слышать ее голос, касаться ее руки, осязать ее тело: таковы утешения влюбленных. И целовать ее можно; ведь этому-то ее состояние не мешает“.

VIII

Когда Менелай пришел ко мне и рассказал, я воскликнул, что скорее умру, чем допущу похитить поцелуй Левкиппы. „Что слаще его? — воскликнул я. — Дело Афродиты имеет свои границы; им можно пресытиться, и никакой цены не имеет оно, если лишит его поцелуев. Поцелуй не имеет границ, им нельзя насытиться, и он всегда нов. Три прекраснейших вещи исходят из уст: дыхание, голос и поцелуй. Губами мы целуем друг друга, а источник наслаждения в душе. Поверь моим словам, Менелай, — в несчастии я выдам свою тайну, — одно только я получил во владение от Левкиппы: она остается девушкой и является моей женой только через поцелуй. Если же кто у меня поцелуй похитит, я не перенесу этого бедствия. Пусть не окажутся запятнанными прелюбодеянием предназначенные мне ее поцелуи“. „Так мы нуждаемся в очень быстром и хорошем совете, — сказал Менелай: — любовник переносит все, пока он надеется получить желаемое, стремясь к этому желаемому; отчаявшись же, он меняет свою страсть и решается, сколько в его силах, досадить в свою очередь тому, что препятствует. А допустим, что он обладает еще силой мстить безнаказанно: тогда-то именно та часть души его, что не боится, еще более раздражает ту, что ярится. Ведь и условия времени усиливают затруднительность положения дел“.

IX

Пока мы рассуждаем, вбегает встревоженный воин и говорит, что Левкиппа, гуляя, внезапно упала, закатив глаза. Вскочив, мы побежали и увидели ее лежащей на земле. Я подошел к Лев-

киппе и стал расспрашивать, что с ней случилось. Она же, увидав меня, вскочила и ударила меня по щеке, смотря налившимися кровью глазами. А когда Менелай хотел за меня заступиться, она его ударила ногой. Поняв, что это буйное помешательство, мы пытались удержать ее силой. Левкиппа же вступила с нами в борьбу, нисколько не стараясь скрыть того, что женщины не позволяют видеть. Вокруг палатки поднимается большой шум, так что вбежал сам стратег и увидел случившееся. Он сначала подозревал, что этот недуг притворный и направлен против него, и искоса смотрел на Менелая. Когда же, немного спустя, стратег увидал, что все происходящее истинно, он сам почувствовал сострадание и огорчение. Принесли веревки и связали несчастную. Увидав узы на ее руках, я стал просить Менелая, когда толпа уже удалилась: „Развяжите, — говорил я, — умоляю вас: ее нежные руки не вынесут уз, оставьте меня с ней. Я один обниму ее и стану для нее узами: пусть она безумствует против меня. Мне нечего больше жить! Левкиппа не узнает меня, хотя я здесь. Лежит она связанная, и я, бесстыдный человек, могу ее освободить, но не хочу. Для того ли спасла нас Судьба из рук разбойников, чтобы тебе стать игралищем безумия?! О мы несчастные, достигнувшие счастья! Мы избежали домашних ужасов, чтобы претерпеть несчастье в кораблекрушении; спаслись из моря, чтобы достаться разбойникам; избавились от негодяев — и оказались во власти безумия! Я же, если ты придешь в себя, возлюбленная моя, опять буду бояться злого божества, что оно тебе причинит какое-нибудь зло. О, кто нас злополучнее? Мы боимся самого счастья! Но только исцелись и приди в себя, — пусть опять над нами тогда шутит Судьба“.

X

Во время моей речи меня успокаивали Менелай и бывшие с ним, говоря, что подобного рода недуги недолговременны и часто происходят от кипения молодой крови. Кровь, будучи в теле молодой и кипящей от избытка сил, часто наводняет

жины и, приливая к голове, топит испарение рассудка. Надо поэтому послать за врачом и приложить уход. Менелай пошел к стратегу и попросил его вызвать лагерного врача. Стратег с удовольствием согласился. Ведь любовники радуются, исполняя любовные поручения. Врач пришел и сказал: „Теперь погрузим ее в сон, чтобы отнять у безумия его напряжение. Сон—лекарство от всех болезней. А потом употребим и другое лечебное средство“. Он нам подал небольшое зелье, величиной с горошину, и приказал, распустив его в масле, потереть им по середине головы Левкиппы. Обещал он приготовить и другое лекарство для очищения желудка. Мы исполнили предписания врача. Мы натерли Левкиппу, и она скоро заснула и проспала остальную часть ночи до зари. Я же не спал всю ночь, сидел у ее ложа и с плачем говорил, смотря на ее узы: „Увы мне, возлюбленная моя, и спишь ты связанной, и даже сон твой не свободен. Что тебе грезится? Здорова ли ты во сне, или и твои сновидения безумны?“. Проснувшись, она опять начала бессвязно кричать. Пришел врач и стал ее лечить другим лекарством.

XI

В это время прибыл посланец от сатрапа Египта с письмом для военачальника. Письмо, вероятно, торопило его на войну. Он приказал всем тотчас же встать под оружие, чтобы итти на разбойников. Тотчас же как можно скорее, все построились, и каждый взял свое оружие; и были все вместе с сотниками. Тогда военачальник сообщил им пропуск и велел разбить лагерь, потом остался один, а на следующий день, лишь только рассвело, повел свое войско против неприятелей. Селение их было расположено так: Нил стекает сверху из Египетских Фив и течет, не разделяясь, до Мемфиса. Немного ниже, у конца великого потока, есть деревня по имени Керкасор. Там Нил разделяется сушею, и из одной реки делаются три, причем две из них отклоняются в разные стороны, а третья течет прямо, как текла до своего разделения. Но и из этих рек ни одна не достигает

моря, но каждая из них разветвляется у разных городов, одна в одну сторону, другая в другую, и эти рукава шире, чем реки у эллинов. Но река, хотя так часто разветвляется, не оскудевает, — ею пользуются для плавания, и для питья, и для земледелия.

XII

Многоводный Нил является для них всем: и рекой, и землей, и морем, и болотом, и бывает невиданное зрелище, — там можно видеть вместе корабль и мотыгу, весло и соху, руль и серп, пристанище моряков и земледельцев, рыб и быков. По чему ты плыл, то теперь засеваешь; а что засеваешь — это оказывается море возделываемое. Ведь эта река разливается; египтяне сидят, ожидая разливов и считая дни. И Нил не обманывает: он поток, срок соблюдающий и воды отмеряющий, поток, не желающий быть обвиненным в запаздывании. И видеть можно реки и земли соревнование. Обе стихии спорят друг с другом: вода, чтобы превратить в море столь обширную землю, а земля, чтобы вместить столь великое пресное море. Обе одерживают равную победу, и нигде не видно побежденного. Ведь вода вместе с землей распространяется, и у местопребывания разбойничьего всегда оседает в большом количестве. Когда же Нил наводнит всю страну, он из нее образует болото; болота же остаются даже после того, как Нил входит в берега, удерживая в себе воду. По ним они и ходят, и плавают, но не может там проплыть судно, вмещающее больше одного человека. Все же необычные для суши места занимает ил. У разбойников небольшие легкие лодки, и для них немного воды нужно. Если же вода совершенно спадет, пловцы несут лодку на спине, пока не дойдут до воды. В этих болотах очутились рассеянные островки. Одни из них были лишены построек и поросли папирусом. А густые ряды папируса отстоят друг от друга настолько, что между ними может стать один только человек. Это расстояние заполняют сверху листья папируса. Залезая сюда, жители сове-

шаются и сидят в засаде и укрываются как стеной, папирусом пользуясь. А некоторые из островков покрыты шалашиами и, укрепленные болотами, похожи на внезапно выросший город. Здесь убежище разбойников. Среди островов имеется один поближе, отличающийся своей величиной и большим числом шалашей (зовут его, кажется, Никохида). Разбойники, собравшись сюда, как в наиболее укрепленное место, полагались на свою многочисленность и местоположение. Ведь только один перешеек вел к Никохиде, иначе она была бы совершенным островом. Длинною перешеек был в стадий, а шириною в двенадцать локтей. Болота окружали город со всех сторон.

XIII

Увидав, что стратег приближается, разбойники придумали следующее. Собрав всех стариков и возложив на них просительные пальмовые ветки, они поставили позади них самых крепких из молодых, вооруженных щитами и копьями. Старики должны были, поднимая ветки, укрыть задних листьями, а те должны были волочить копья наклоненными, чтобы их нельзя было разглядеть. Если стратег склонится на мольбы стариков, то копьеносцам не следует начинать сражения; в противном же случае надлежит заманить стратега в город под предлогом, будто они предадут там самих себя на смерть. Когда же они будут на середине перешейка, то старикам по данному знаку нужно будет разбежаться и бросить свои ветки, а вооруженным окружить неприятельское войско и делать с ним, что смогут. Старики, со своими украшениями, пришли и начали просить стратега уважить просительные ветки и помиловать их город. Они обещали дать ему лично сто талантов серебра, а кроме того отправить к сатрапу сто человек из них, готовых пожертвовать собой за родной город, — тогда город мог бы стратегу доставить добычу. Обещания стариков не были лживыми, но они выполнили бы их, если бы стратег согласился принять. Но он не соглашался на это. Тогда старики сказали: „Итак, если таково твое решение, нам придется

примириться с нашей злой долей. Будь же милостив, не убивай нас вне наших ворот и вдали от нашего города, веди нас в нашу отеческую землю, к родимому очагу и сделай город нашей могилой. Смотри, мы ведем тебя на нашу смерть“. Услышав это, стратег бросил приготовления к битве и приказал своим войскам итти спокойно.

XIV

Вдали были поставлены разбойниками соглядатаи, которым было велено прервать речную плотину и выпустить всю воду на неприятелей, если они увидят, что те начали переправу. С разливом Нила дело обстоит так. У каждого протока египтяне насыпают плотину, чтобы Нил, разлившись раньше времени, не затопил землю. Когда же им нужно оросить равнину, жители немного приоткрывают плотину, и туда устремляется вода.

За деревней был большой и широкий речной проток; видя приближающихся врагов, приставленные к этому делу быстро прорывают плотину. Все совершается одновременно: старики, бывшие перед войском, внезапно расступаются, юноши, подняв копья, выбегают, а вода уже приближалась. Болота увеличивались, разбухая со всех сторон, перешеек затоплялся, и все стало как море. Разбойники, напав, пронзают копьями бывших перед ними и самого стратега, застигнутых врасплох и смущенных неожиданным нападением. А смерть прочих была неопишима. Одни погибли от первого натиска, не успев даже взяться за копья; другие, не успев защититься: ведь они одновременно и беду узнали, и пропали. Некоторые же пропали прежде, чем узнали. Одни от неожиданного испуга стояли, ожидая смерти, другие, даже убегая, только скользили, так как вода подкашивала их ноги, третьи, обратившись в бегство, попадали в глубокое болото и были засосаны им. Одним, стоящим на земле, вода доходила до середины, так что относилась их щиты и обнажала их животы для ран. А вода в болотах была выше головы. Нельзя было различить, где болото и где равнина; один, двигаясь по земле,

из страха оступиться, замедлял бег, так что скоро попадал в плен; другой блуждал по болоту, думая, что это земля, и тонул там. Было невиданное несчастье: столько кораблекрушений и ни одного корабля! Два странных и необычных явления: сухопутные битвы на воде и кораблекрушения на земле. Разбойники гордились, кичась своим делом и считая, что победили храбростью, а не тайным обманом. Египтянин, когда боится, становится рабом малодушного своего начала, а когда храбрится, испытывает воинственность, но в обоих случаях действует не в меру: то слишком слаб в несчастье, то слишком храбр в счастье.

XV

Прошло уже десять дней безумия Левкиппы, но болезнь все еще не облегчилась. Однажды во сне она подала вещей голос: „Из-за тебя, Горгий, я безумствую“. На заре я рассказал об этом Менелаю и вспоминаю, нет ли в деревне какого-нибудь Горгия. Когда мы вошли, к нам подходит юноша и, обратившись ко мне, говорит: „Я пришел, чтобы спасти тебя и твою жену“. Я испугался и, считая его посланным богом, спросил: „Не Горгий ли ты?“ — „Нет, — ответил он, — я Хэрей, Горгий же погубил тебя“. Я ужаснулся еще больше и говорю: „Каким путем он сделал это, и кто такой Горгий? Ночью мне некое божество назвало его: будь же истолкователем божеских вещаний!“ — „Горгий, — отвечал он, — был египетским воином; теперь же его уже нет: он стал жертвой разбойников. Он был влюблен в твою жену. Чародей по природе, он приготовил любовное зелье и склонил прислуживающего вам египтянина взять его и примешать к питью Левкиппы. Но Горгий не заметил, что он пользовался не смешанным ядом, и любовное зелье перешло в безумие. Это мне вчера рассказал Горгиев слуга, вместе с ним отправившийся против разбойников, но спасенный Судьбой, повидимому, ради вас. Он просит четыре золотых за исцеление и говорит, что умеет приготовить другое зелье и с его помощью уничтожить первое“.

„Да будет тебе благо за услугу, — ответил я, — приведи к нам человека, о котором ты говорил“. Тот удалился, а я, войдя к египтянину и два, три раза ударив его кулаком по лицу, выходя из себя, спросил: „Скажи, что ты дал Левкиппе? Отчего она безумствует?“ Он испугался и сообщил мне все, о чем уже рассказал Хэрей. Мы его заключили под стражу.

XVI

В это время пришел Хэрей вместе с тем человеком. Я сказал им обоим: „Получите сейчас четыре золотых в награду за хорошие вести и выслушайте мои мысли насчет лекарства. Вы видите, что виной ее теперешнего несчастья является тоже зелье. Не безопасно прибавлять зелья в желудок, уже пропитанный им. Ну, расскажи про свойства этого зелья и приготовь его в нашем присутствии. Если ты это сделаешь, получишь в награду еще четыре золотых“. Тот ответил: „Твои опасения справедливы, но составные части этого зелья общеизвестны и все съедобны. Я сам вкушу его столько, сколько и она примет“. Сказав это, он приказывает слуге купить их и принести к нему, при чем перечисляет все составные части. Когда же их в скором времени принесли и он растер их вместе в нашем присутствии, он разделил смесь на две части и сказал: „Эту часть я сам сперва выпью, а это дам ей. Приняв это, она обязательно проспит всю ночь, а на заре ее оставит и сон, и болезнь“. Он первым принимает часть этого лекарства, а остальное приказывает дать выпить Левкиппе под вечер. „Я ухожу спать, — сказал он, — этого требует зелье“. Сказав это, он ушел, получив от меня четыре золотых. „Остальные я дам, — сказал я, — если ей будет легче“.

XVII

Когда пришло время дать Левкиппе лекарство, я налил его и стал ему молиться: „О зелье, чадо земли, дар Асклепия, да окажется истинным то, что говорили про тебя. Будь для меня

счастливее первого зелья и спаси возлюбленную мою. Победи зелье варварское и дикое!" Напутствовав таким образом питье и поцеловав кубок, я подношу его Левкиппе. Спустя немного, она заснула, как предсказал тот человек. Сев рядом с ней, я говорил ей, как будто она могла меня слышать: „Воистину ли ты придешь в себя? Узнаешь ли ты меня когда-нибудь? Услышу ли я твой голос? И теперь возвести мне что-нибудь во сне. Ведь вчера ты справедливо дала вещание против Горгия. Так ты более счастлива, когда спишь? Бодрствуя, ты страдаешь безумием, а сновидения твои полны благо-разумия“.

Пока я так разговаривал с Левкиппой, будто она могла слышать, показалась долгожданная заря. Левкиппа заговорила, и ее слова были: „Клитофонт!" Вскочив, я подбегаю к ней и расспрашиваю, как она себя чувствует. Она, казалось, не помнила ничего из случившегося с ней, но, увидев узы, удивилась и спросила, кто ее связал. Я же, видя ее здоровой, в большой радости поспешно развязал узы, а потом уже рассказал ей все. Слыша это, она стыдилась, краснела и считала, будто она сейчас то же совершает. Я ее ободрял и утешал, и с большой охотой отдал плату за лекарство. Ведь деньги, зашитые у Сатира в пояс во время нашего кораблекрушения, не были отняты разбойниками. Менелай также ничего не потерял.

XVIII

В это время против разбойников были двинуты значительные силы из столицы, разрушившие город до основания. И вот, так как река освободилась от наглых разбойников, мы стали готовиться к отплытию в Александрию. С нами плыл и Хэрей, ставший нам другом после того, как сообщил о зелье. Родом он был с острова Фароса, рыбак по ремеслу. Неся в качестве наемника военную службу на корабле во время похода против разбойников, он после войны освободился от нее. После долгого перерыва

река была полна судов, и все радовало глаз; раздавались песни матросов, крики корабельщиков, корабли вели хоровод. Вся река была сплошным праздником, а наш переезд походил на веселое гулянье. Я тогда в первый раз испил нильской воды, не смешанной с вином, желая оценить наслаждение от питья. Ведь вино скрывает природный вкус воды. Зачерпнув воды чашей прозрачного хрусталя, я видел, что блеск воды с кубком состязался, и кубок побеждался. Пить эту воду было сладко и холодно в меру наслаждения. Ведь знаю я, что некоторые из эллинских рек прямо ранят своим холодом. Я их сравнивал с этой рекой. Поэтому египтянин не боится пить воду не мешаной и не нуждается в Дионисе. Здесь же дивился я и способу питья. Египтяне не хотят черпать воду, не выносят кубков, но имеют свой собственный кубок. И кубком им служит рука. Ведь если кто из них во время плавания почувствует жажду, то свешивается с корабля, лицо к реке наклоняет и руку в воду опускает. Погрузив ее ковшом и наполнив водой, он мечет напиток себе в рот и попадает в цель. Рот раскрыт и ожидает броска, принимает, закрывается и не позволяет вылиться обратно воде.

XIX

Видел я и другого зверя нильского, более речного коня за силу превозносимого. Имя ему крокодил. Видом он одновременно похож на рыбу и на зверя. Велик он от головы до хвоста, но ширина не соответствует длине. Кожа покрыта шероховатыми чешуями, цвет спины пепельный, брюхо белое, четыре ноги, немного вкось загибающиеся, как у сухопутной черепахи. Хвост большой, толстый и похож на твердое тело. Ведь не свешивается он, как у других животных, но его кость является концом позвоночника. Сверху он нарезан ужасными колючками, похожими на зубья пилы. Он служит ему также и бичом во время охоты. Крокодил ударяет хвостом тех, с кем борется, и наносит одним ударом много ран. Голова его срослась со спиной, как по отвесу,—

ведь природа скрыла его шею. Ужаснее же всего пасть зверя: она обладает очень длинными челюстями и открывается вся. В обычное время, когда крокодил не раскрывает пасти, это голова. А когда он разинет пасть для охоты, вся голова становится пастью. Он раскрывает верхнюю челюсть, а нижнюю держит неподвижно. Расстояние между челюстями велико, пасть разевается до плеч, а там сразу начинается чрево. Зубов у крокодила много, и сидят они длинными рядами. Говорят, что их число столь велико, сколько дней возжигает бог в течение целого года. Такой посев несет равнина челюстей! Если он выползет на сушу, то, видя, как он тащит свою тушу, ты согласишься его силе.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

После трехдневного плавания прибыли мы в Александрию. Когда я входил в ворота, называемые Вратами Солнца, развернулась передо мною сверкающая красота города, исполнившая наслаждением мой взор.

Прямой ряд колонн высился с обеих сторон от этих ворот Солнца до ворот Луны — божества эти охраняют входы в город; а между колоннами тянулась равнинная часть города. Ее пересекало множество улиц, и, не выходя из города, можно было сделать большое путешествие.

Немного пройдя по городу, я вышел на площадь, носящую имя Александра. Отсюда я увидел остальные части города, и здесь красота делилась. Лес колонн располагался прямо передо мною, другой такой же — в поперечном направлении. А я, ненасытный зритель, пытался как-нибудь поделить свои глаза на все улицы, и не хватало у меня сил охватить взором красоту целого. На одно я смотрел, на другое только посмотреть хотел, одно спешил увидеть, но и другого не желал миновать. Овладевало моими взорами все мною созерцаемое, влекло к себе ожидаемое. Скитаясь по улицам, горя тщетным желанием обозреть все, я, наконец, измучился и сказал: „Очи мои, мы побеждены!“

И я увидел два невиданных и неожиданных чуда, состязание величия с красотой, соревнование населения и города — и победу того и другого. Ибо город был больше материка, население многочисленнее целого народа; я смотрел на город и сомневался,

может ли какое-нибудь население наполнить его; я глядел на население и дивился: неужели же вместит его какой-нибудь город. Так ровно стояли чашки весов.

II

По воле Судьбы был как раз праздник великого бога, которого Зевсом именуют элины, Сераписом — египтяне. Происходило шествие с пылающими факелами; это было самое величественное из того, что я видел. Был уже вечер, солнце зашло, а ночи не было нигде, но восходило новое солнце, рассыпавшееся на множество огней. Ибо тогда я увидел город, соперничавший с небом своей красотой. Я узрел и Милостивца Зевса, и Зевса Небесного храм.

Помолившись великому богу, обратившись к нему с мольбой, чтобы он положил когда-нибудь конец нашим бедам, мы пришли в дом, который нашел для нас Менелай. Но видно было, что бог не внял нашим мольбам: нас ожидало новое, ниспосланное Судьбою, испытание.

III

Дело в том, что Хэрей давно уже тайно любил Левкиппу, поэтому-то он и указал для нее лекарство; таким путем он добывал средство сблизиться с нами и одновременно спасал для себя девушку. Зная, как трудно ему будет достигнуть своей цели, он придумал коварный план: собрал отряд разбойников, своих товарищей по ремеслу, — сам он был мореходом, — сообщил им, что им следовало делать, и пригласил нас в гости на остров Фарос под тем предлогом, будто хочет справить день своего рождения.

Едва мы вышли из дверей, как нам явилось дурное предзнаменование: копчик, преследуя ласточку, крылом задел голову Левкиппы. Взволнованный этим, я поднял глаза к небу и сказал: „О Зевс! Что за знак ты нам даешь? Если эта птица действительно тобою послана, покажи нам другое, более ясное, знаме-

ние!“. И вот, обернувшись, — а я как раз стоял возле мастерской живописца, — я заметил находящуюся там картину; она как будто повторяла первое знамение. Картина изображала надругательство над Филомелой, насилие Терей, вырезывание языка. На картине было в подробностях передано все совершившееся, и знаменитый пеплос, и сам Терей, и пиршество. Держа развернутый пеплос, стояла прислужница; Филомела, рядом, положив палец на пеплос, указывала на изображенный на ткани рисунок; Прокна кивком головы отвечала, что видит, грозно смотрела и гневалась: там был выткан фракиец Терей, вступивший в любовную борьбу с Филомелою. Всклочены волосы у нее, пояс развязан, хитон разорван, грудь наполовину обнажена; правую руку она направляла в глаза Терею, левою натягивала на грудь свой разорванный хитон. В руках держал Филомелу Терей; он из всех сил влек к себе ее тело, сжимая ее в тесном объятии. Так выткан художник изображенный на пеплосе рисунок; а в другой части картины: женщины показывают Терею в корзине остатки пиршества, голову и руки мальчика, и смеются они, и вместе с тем ужасаются. Было изображено, как Терей вскакивает с ложа и извлекает меч против женщин; он ногой опирается об стол; а стол не стоит и не упал еще, но наклоняется и грозит падением.

IV

Тогда Менелай сказал: „Мне кажется, надо приостановить нашу поездку на Фарос; ты видишь два недобрых знамения: коснувшееся нас крыло птицы и угрозу, изображенную на картине. Толкователи знамений велят обращать внимание на содержание картин, попадающихся нам по пути, когда мы выходим по какому-нибудь делу, и велят заключать об исходе дела по смыслу изображенных событий. Ты видишь, каких ужасов полна картина? Там и любовь незаконная, и измена бесстыдная, и несчастья женщин. Поэтому я предлагаю задержать наш отъезд“.

Мне казалось, что Менелай прав, и я извинился перед Хэреем за этот день; тот удалился очень недовольный, сказав, что завтра придет к нам.

V

А Левкиппа спрашивает меня, — ведь все женщины любят рассказы: „Что означает содержание картины? Что это за птицы такие? Кто эти женщины и кто бесстыдный человек?“ Я приступил к рассказу: „Соловей, ласточка и удог; они люди и в то же время они птицы. Удог — мужчина, а обе женщины: Филомела — ласточка, Прокна — соловей. Родина женщин — Афины. Терей — муж, Прокна — Тереева жена. Но варварам, должно быть, недостаточно для служения Афродите одной жены, в особенности когда случай дает им возможность необузданно предаваться наслаждениям. И вот Терее представился случай дать проявиться своей природе, благодаря нежной любви Прокны; дело в том, что она послала за своей сестрой своего мужа Терее. А Терей ушел мужем Прокны, но возвращается любовником Филомелы и во время пути делает Филомелу для себя второю Прокной. Терей опасается языка Филомелы и приданым ее делает лишение дара слова и срезает цветок ее голоса. Но больше он ничего не добился, ибо искусство Филомелы нашло немой язык. Она ткет пеплос, который должен стать ее вестником, вплетает в уток изображение всего, что случилось с ней; рука Филомелы подражает языку, указывает глазам Прокны то, что должны были слышать уши, и рассказывает ей при помощи челнока все, что она, несчастная, выстрадала. Прокна слышит от пеплоса о насилии и хочет отомстить мужу сторицей. И вот налицо две ярости, и две женщины, дышащие одним желанием, к оскорблениям подмешивающие ревность, замышляют пиршество, ужаснее самого брака. Яством должен был стать сын Терее, чьею матерью до своего гнева была Прокна; теперь же позабыла она о муках рождения! Так муки ревности побеждают материнское лоно. Одного только

страстно желают женщины: как бы уязвить осквернителя брачного ложа! Пусть они при мщении испытывают неменьшее страдание, — горе от страдания женщины вознаграждают наслаждением, которое им принесет месть. Итак, Терей вкусил яства Эриний, а обе женщины принесли ему в корзине останки ребенка, и ужаса полон их смех! Терей видит останки ребенка, и горюет над своей пищей, и узнает, что он отец вкусенных им яств. Узнав это, он впадает в неистовство, схватывает меч и бросается на женщин, но воздух укрывает тех. Терей поднимается вслед за ними и становится птицей; и до сей поры сохраняют они образ того, что испытали когда-то. Соловей спасается бегством, а Терей гоняется за ним. Так сохранил он свою ненависть и в одеянии из перьев“.

VI

В тот раз мы таким образом избегли злого умысла, но выиграли только один день, потому что на другой день с самого утра вновь появился Хэрей, а мы постеснялись и не решились возражать ему. Мы сели в лодку и прибыли на Фарос; только Менелай остался дома, сославшись на свое нездоровье.

Сперва Хэрей повел нас к башне и показал строение удивительное и причудливое. Гора, посреди моря лежавшая, доходила до самых облаков, а вода протекала под этим сооружением; и оно высилось, вися над морем, а над вершиною горною взошло солнце, кормчий для кораблей.

После этого Хэрей повел нас к дому; а расположен был этот дом в отдаленнейшем конце острова, у самого моря.

VII

Когда наступил вечер, Хэрей куда-то вышел, сославшись на свой желудок. Немного спустя, вдруг раздался у дверей крик; сейчас же затем врывается множество огромных людей

с обнаженными мечами, и все они бросаются на Левкиппу. Я же, когда увидел, как похищают мою возлюбленную, не вытерпел и ринулся сквозь мечи; один из разбойников ударил меня мечом в бедро, и я упал на колени. Свалившись на землю, я истекал кровью, а разбойники положили девушку в лодку и обратились в бегство. На шум и крик, который поднялся при нападении разбойников, появился стратег острова; я знал его еще со времен лагерной встречи. Я показал ему свою рану и умолял начать преследование разбойников; в городе стояло на якоре множество судов. Взойдя на одно из них, стратег пустился в погоню вместе с отрядом, бывшим в это время при нем; я тоже сел на корабль вместе с ними, причем меня внесли на носилках.

Когда разбойники увидели, что к ним уже приближается корабль, готовый вступить в бой, они ставят на палубе девушку со связанными назад руками, и один из них, крикнув громким голосом: „Вот награда за ваши труды!“ — отрезает ей голову и сбрасывает обезглавленное тело в море. Я, как увидел это, зарыдал и завопил и вскочил, чтобы самому кинуться в волны, но так как мои спутники удержали меня, я стал умолять их остановить корабль и кому-нибудь прыгнуть в море, — может быть, мне удастся получить для погребения хотя бы тело девушки. Стратег соглашается и останавливает корабль; два моряка кидаются с корабля и, схватив тело, поднимают его наверх. А в это время разбойники уходили от нас с еще большей скоростью; когда же мы снова приблизились к ним, вдруг разбойники видят еще один корабль и, узнав его, зовут на помощь; это были ловцы пурпурниц, промышлявшие морским разбоем. Когда стратег увидел, что против нас стало уже два корабля, он испугался и велел пуститься в обратный путь, потому что пираты отказались от бегства и вызывали нас на бой.

Когда мы вернулись на берег, я сошел с корабля, обнял труп и стал плакать: „На этот раз, Левкиппа, ты действительно

умерла для меня смертью двойной, поделили тебя суша и море; и вот останки тела твоего в моих руках, но я потерял тебя! Не поровну поделились море и земля; лишь малая часть тебя сохранена мне, хоть и кажется она большею; а море, хотя и владеет немногим, владеет всею тобой. Но если завистливая Судьба не позволила мне целовать твое лицо, дай я буду целовать твою смертную рану!“

VIII

Оплакав ее таким образом и похоронив тело, я отправляюсь обратно в Александрию; против воли моей ухаживали мою рану, и, утешаемый Менелаем, я, скрепя сердце, стал жить. Уже прошло шесть месяцев, и острота моего горя начинала ослабевать, — время от скорби излечивает и дает затянуться душевным язвам; ибо солнце полно радости, и понемногу наша скорбь, даже когда есть избыток ее, подчас вскипает, если пылает наша душа, но, побеждаемая ежедневными увлечениями, начинает охладевать.

И вот, когда однажды бродил я по площади, кто-то вдруг сзади берет меня за руку, поворачивает к себе и, не говоря ни слова, обнимает и покрывает поцелуями. Я сперва не понимал, кто это такой, но стоял, пораженный удивлением, и только принимал его бурные приветствия, словно был мишенью для поцелуев; когда же целовавший оторвался от меня и я увидел его лицо, — а это был Клиний, — я вскрикнул от радости, обхватил его руками в свою очередь и ответил ему такими же объятиями, а после этого мы пошли ко мне домой. Он рассказал мне о себе, как он спасся от кораблекрушения, а я ему обо всем, что случилось с Левкиппою.

IX

„Сразу, как только разбился корабль, — сказал он, — я помчался к рее, едва ухватился за ее конец, так как все уже было полно людей, и, обхватив руками, пытался удержаться, виса на рее. Недолго пробыли мы в море; громадная

волна подняла бревно и кинула его прямо на подводную скалу концом противоположным тому, на котором висел я. Ударившись о скалу, бревно снова с силой отскочило назад, наподобие орудия, и метнуло меня, как камень из пращи. После этого я плавал весь остаток дня, не имея больше надежды на спасение. Уже изнемогая и поручив себя судьбе, я вдруг заметил корабль, несущийся навстречу мне; я протянул руки, насколько сил хватало, и знаками показал, что молю о помощи. Сжалились ли они надо мной или их принесло дуновение ветра, но только они направились прямо ко мне; один из моряков кинул мне канат в то время, как корабль проходил мимо; я ухватился за канат, а они вытащили меня из самых врат смерти. Корабль плыл в Сидон; некоторые из путников узнали меня и оказали мне помощь.

X

После двухдневного плавания мы прибываем в город, и я прошу находящихся на судне сидонян — там был торговец Ксенодамант и Феофил, его тесть — не говорить никому из тирян, если бы они повстречались с кем-нибудь из них, о моем спасении от кораблекрушения, чтобы те не поняли, что я пустился в путь вместе с тобою. Я надеялся утаить это, если только они сохранят тайну, так как прошло всего пять дней, в течение которых меня никто не видел; а своим домашним я, как ты знаешь, заранее велел на все вопросы говорить, что я уехал в имение на целых десять дней. Я убедился, что этот слух обо мне распространился. Вышло так, что твой отец в то время еще не приехал из Палестины, а вернулся двумя днями позднее и тут получил письмо, посланное отцом Левкиппы, которое пришло как раз через день после нашего отъезда; в нем Сострат отдает тебе в жены свою дочь. Прочитав это письмо и услышав о вашем бегстве, твой отец почувствовал, что обрушились на него разнообразные несчастья: он потерял награду, обещанную в письме, а вместе с тем Судьба устроила все дело так, что не

хватало немногого для счастливого исхода; ведь ничего из всего этого не случилось бы, будь письмо скорее доставлено.

Он считал, что пока еще не следует писать брату ни о чем из всего происшедшего, и попросил мать девушки воздержаться от этого. „Ведь, может быть, мы разыщем их, и не надо Сострату знать о случившемся несчастье. Где бы они ни были, они с радостью узнают об этом сватовстве и вернутся, если только позволено им будет обнаружить то, из-за чего они бежать отважились“. Он прилагал все усилия, чтобы разведать, куда вы отправились. А незадолго до этого прибывает из Египта на корабле тирянин Диофант и говорит твоему отцу, что он тебя видел здесь; и я, узнав это, тотчас же, как был, сел на корабль, и сегодня уже восьмой день, что я, разыскивая тебя, хожу по всему городу. Тебе следует подумать о всех обстоятельствах, потому что, может быть, и отец твой приедет сюда“.

XI

Услышав это, я снова стал оплакивать игру Судьбы. „О жестокое божество! — говорил я. — Ныне Сострат отдает мне Левкиппу и из разгара войны посылает мне невесту, точно отмерив дни, только бы не предупредить моего бегства! О, несвоевременное счастье! О я, счастливец, — будь это одним днем раньше! После смерти — свадебное ликование, после надгробного рыдания — брачные песни! Какую невесту дает мне Судьба? Невредимым она не отдала мне даже и ее труп!“.

„Не время теперь плакать над мертвыми, — ответил Клиний, — посмотрим лучше, следует ли тебе теперь на родину возвращаться, или отца твоего здесь дожидаться“.

„Ни то, ни другое, — отвечаю я. — Какими глазами стал бы я глядеть на отца моего, и еще после того, как я столь постыдно от него бежал и погубил сокровище, доверенное ему братом? Бежать отсюда, вот что мне остается, пока не прибыл он сам“.

В это время входит Менелай, а с ним вместе Сатир; они обнимают Клиний и узнают от нас обо всем, что произошло.

„Но ведь у тебя есть возможность, — сказал Сатир, — прекрасно устроить твоё нынешнее положение и сжалиться над душой, страдающей от любви к тебе; пусть услышит это и Клиний. Афродита даровала этому юноше великое благо, которое он не желает брать: она зажгла безумную страсть к нему в очень красивой женщине — посмотреть на нее, так скажешь, что это статуя богини; она из Ефеса родом, имя ей — Мелита; богатство ее велико и возраст юн. Муж ее недавно погиб в море, и хочет она, чтобы этот юноша был ее повелителем, — я не скажу: мужем, — и отдает ему себя и все свое состояние; из-за него она провела здесь вот уже четыре месяца и умоляет его последовать за нею. Он же, не знаю почему, гордится и думает, что Левкиппа оживет для него“.

XII

„Совсем не плохо, по-моему, говорит Сатир, — сказал на это Клиний; — ведь, если красота, богатство и любовь соединились для тебя, так нечего медлить и откладывать. Ведь красота доставляет наслаждение, богатство — пышность, любовь — уважение, а бог ненавидит спесивых хвастунов. Так послушайся же Сатира и сделай это для бога“.

„Веди меня, куда хочешь, — отвечал я, застав, — если и Клиний того же мнения; только пусть эта женщина не доставляет мне хлопот и не торопит обладать ею, пока мы не прибудем в Ефес. Ведь я уже раньше дал клятву не сходиться с женщинами здесь, где потерял Левкиппу“.

Услышав это, Сатир бежит к Мелите с радостными вестями; а немного погодя, он приходит снова и говорит, что Мелита, когда услышала это, едва не лишилась дыхания и просит прийти к ней в тот же день к обеду, чтобы это было приготовлением к браку.

XIII

Я послушался и отправился; а она, лишь только увидела меня, вскочила, обняла и покрыла все мое лицо поцелуями. Она была в самом деле прекрасна; ты сказал бы, что лицо ее молоком умощено и что розы произрастают на ее щеках. Взор ее сиял любовным сиянием, густые волосы, пышные, золотистого цвета, — так что я, кажется, без всякого неудовольствия смотрел на эту женщину.

Обед был роскошен; она же лишь прикасалась к поданным кушаньям, так, чтобы казалось, будто она ест, но не могла спокойно вкушать пищу и все время смотрела на меня. Ведь для влюбленных нет ничего сладостного, кроме предмета их любви; ибо всю душу охватывает любовь и не оставляет места даже для пищи. А наслаждение созерцанием сквозь очи вливается и оседает в груди; увлекая с собою отражение любимого, оно воспроизводит его в зеркале души и воссоздает образ его; а истечение красоты незримыми лучами влечется к влюбленному сердцу и запечатлевает в глубине его свою тень.

Я понял ее состояние и говорю ей: „Но ведь ты ни от чего не вкушаешь из того, что тебе принадлежит; ты похожа на тех, кто ест на картинах“.

„Какое яство, — отвечала она, — для меня утонченнее, какое вино драгоценнее, чем лицезрение тебя?“ И, говоря это, она поцеловала меня, и я не без удовольствия принимал поцелуи ее, а затем она отодвинулась от меня и сказала: „Вот моя пища“.

XIV

Вот как мы тогда проводили время; а с наступлением вечера Мелита пыталась заставить меня провести ночь в ее доме, я же отговорился и сказал то же, что я уже раньше высказал Сатиру. Едва отпустила меня огорченная Мелита.

А на следующий день было у нас условлено встретиться в святилище Исиды, чтобы переговорить друг с другом и свя-

зять себя обязательствами перед лицом богини; вместе с нами были также Менелай и Клиний; и мы дали клятву, я — любить ее без хитрости и коварства, она — сделать меня своим мужем и объявить господином всего, что принадлежит ей. „А в силу вступит наш договор, — сказал я, — со дня прибытия нашего в Ефес; здесь же, как я сказал, ты уступишь свое место Левкиппе“.

Затем для нас было устроено роскошное пиршество; и по названию это пиршество было браком, на деле же этот брак решено было отложить. И я помню одно забавное словечко Мелиты во время угощения. Когда все присутствующие высказывали нам добрые пожелания по поводу нашего брака, она незаметно наклонилась ко мне и сказала: „Странное дело случилось со мною, со мною одной. Могила без тела я уже видывала, а брака без дела — никогда“. Так она шутила, а мне было не до шуток.

XV

На следующий день мы приготовились к отъезду; по воле Судьбы и ветер призывал нас. И Менелай дошел до самого залива, дружески обнял нас, пожелал, чтобы переезд через море оказался на этот раз более счастливым, а затем повернул обратно, — юноша он был очень хороший и достойный милости богов, — и при этом его глаза наполнились слезами, да и у нас у всех брызнули слезы. Клиний же решил не покидать меня и плыть со мной вместе до самого Ефеса, пробыть некоторое время в этом городе и потом вернуться обратно, если он узнает, что дела мои пошли хорошо.

Ветер дул с кормы, был вечер, и мы, поужинав, легли спать; для меня и для Мелиты на корабле был отдельно поставлен шатер. И вот она обняла меня, стала целовать и требовать настоящего брака. „Теперь, — говорила она, — мы из пределов, отведенных Левкиппе, вышли и пределов, где действует наш договор, достигли; отсюда начинается установленный срок. К чему же мне ждать теперь до самого Ефеса? Неизвестны случайности морских валов, ненадежны перемены ветров. Поверь мне, Клитофонт, я сгораю! О, если бы я могла показать тебе этот огонь!

О, если бы его природа была, как у обыкновенного огня, чтобы мне зажечь тебя своим объятием! А теперь помимо всего этот огонь, он один, имеет особый состав, и в то время, как он ярко пылает при объятиях влюбленных, он щадит нас, когда мы обнимаем друг друга. О, пламя таинственное, пламя сокровенно носимое, пламя, не желающее вырываться из своих пределов! Но посвятимся же, любимый мой, в Афродитины таинства!“

XVI

А я сказал: „Не принуждай меня нарушить закон, повелевающий чтить умерших; ведь не перешли мы за пределы, отведенные несчастной девушке, пока еще не вступили на другую землю. Разве ты не слыхала, что она погибла в море? Я еще плыву по могиле Левкиппы; быть может, где-нибудь вокруг корабля витает ее призрак. Говорят, души погибших на море не сходят в Аид, но скитаются здесь, над водою, и, может быть, Левкиппа встанет перед нами во время наших объятий. И неужели же это место, по-твоему, подходит для брака? Брак над пучиною, брак, волнами моря увлекаемый? Неужели ты хочешь, чтобы у нас был столь зыбкий брачный чертог?“

„Ты хитришь, любимый мой, — отвечала Мелита, — для влюбленных любое место — брачный чертог; ведь нет ничего недоступного для бога. И разве море не подходит больше всего для Эрота и таинств Афродиты? Афродита — дочь моря. Послужим богине браков, почтим своим браком ее мать! А ведь мне и все, что нас окружает, кажется брачными знаменами. Вот этот скреп, над головою нависнувший, эти узы, вокруг реи натянутые, — прекрасные, повелитель мой, предзнаменования; под этим скрепом наша опочивальня, и пути связаны, но и кормило от нашей опочивальни близко. Смотри, нашей свадьбой правит Судьба, а провожают нас Посидон и хоровод Нереид; ведь здесь и сам Посидон празднует свой брак с Амфитритой. Звонко свищет в корабельных снастях ветер; чудится мне, свадебную песнь поют нам ветры своим дыханием. А видишь ты, как закругляется парус,

словно бременеющее чрево? И это для меня благое знамение: будешь и ты у меня скоро отцом“.

Видя, что она очень настойчива, я ответил: „Будем благо-разумны, женщина, пока мы не достигнем земли; ибо, клянусь тебе самым морем и Судьбою нашего плавания, я сам страстно хочу того же! Но есть у моря свои законы. Часто слышал я от опытных моряков, что корабли должны быть чисты от дел Афродиты, быть может потому, что суда священны, или же чтобы никто не предавался неге в столь великой опасности. Так не будем же, дорогая моя, оскорблять море; не будем смешивать вместе брак и страх; сохраним себе наслаждение во всей его чистоте“. Говоря это, успокаивая ее поцелуями, я убедил ее, и остальное время мы так и спали.

XVII

После плавания, продолжавшегося пять дней, прибыли мы в Ефес. Мы нашли дом огромный и первый из всех домов эфесских; прислуга многочисленная, убранство роскошное. Мелита приказывает приготовить великолепнейший обед. „Мы же, пока что, — сказала она, — отправимся в имение“. А было оно расположено в четырех стадиях от города. Итак, мы сели в повозку и поехали.

Как только мы прибыли и стали прогуливаться среди посаженных рядами деревьев, бросается к нашим ногам женщина, скованная толстыми цепями, с мотыгой в руках, с остриженной головою, с покрытым грязью телом, в высоко подпоясанном жалком хитоне, и говорит: „Сжался надо мною, госпожа моя, как женщина над женщиной, свободной по своему рождению, ныне же рабыней по воле Судьбы“, — а затем замолкает. Тогда Мелита отвечает ей: „Встань, женщина! Скажи, кто ты и откуда, и кто надел на тебя эти железные путы? Ведь и в таком бедственном состоянии твоя красота вопиет о твоём благородном происхождении“.

„Твой раб, — отвечала та, — за то, что я не стала его наложницей. Имя мне — Лакэна, я фессалиянка родом; я приношу тебе

свою судьбу, как умоляющий о спасении приносит ветвь. Избавь от обрушившейся на меня беды! Обеспечь мне безопасность, пока я не заплачу две тысячи; ведь за эту цену Сосфен купил меня у разбойников. Я добуду их, будь уверена, и очень скоро; а если нет, я буду твоею рабынею! Ты видишь, бесчисленными ударами он истерзал меня!“

При этих словах она приоткрыла хитон и показала спину, исполосованную ужасно.

Когда мы услышали это, я смутился; мне показалось, будто в ней было что-то общее с Левкиппой; а Мелита ответила ей: „Будь спокойна, женщина; от всего этого мы избавим тебя и отошлем на родину без всякого выкупа. Пусть кто-нибудь позовет к нам Сосфена“.

Женщина была тотчас же освобождена от оков, и Сосфен явился, очень смущенный. Мелита говорит ему: „Когда ты видел, злодей, чтобы с самым негодным рабом у нас так гнусно обращались? Кто эта женщина? Говори, но не смей при этом лгать!“

„Я ничего не знаю, госпожа моя, — отвечал Сосфен, — кроме того, что один купец, по имени Каллисфен, продал мне эту женщину и сказал при этом, что он сам купил ее у разбойников, но что она свободная; купец называл ее именем Лакэны“.

Мелита отпустила его от должности управляющего, которую он занимал, а женщину поручила прислужницам, приказав омыть ее, одеть в чистую одежду и отвести в город. Затем она отдала несколько распоряжений по имению, ради которых приезжала, села в повозку вместе со мной, и мы отправились обратно в город, куда и прибыли к обеду.

XVIII

В середине обеда Сатир кивком головы подал мне знак выйти из-за стола, и лицо у него было озабоченное. Я сослался на то, что мой желудок заставляет меня поспешить, и вышел вон; а когда я подошел к Сатиру, он вдруг не говорит ни слова и протягивает мне письмо. Я взял письмо и, прежде еще чем

прочитать его, был сразу же глубоко поражен: я узнал почерк Левкиппы. А в письме было написано следующее:

„Левкиппа Клитонту, господину своему.

Так должна я называть тебя, так как ты муж моей госпожи. Сколько я из-за тебя претерпела, ты знаешь; теперь же необходимость заставляет напоминать тебе. Из-за тебя я свою мать покинула и себя на скитания обрекла, из-за тебя претерпела кораблекрушение и столько от разбойников перенесла; из-за тебя я стала очистительной жертвой и теперь мертва уже во второй раз; из-за тебя я продана в рабство, скована железом, мотыгой работала, копала землю, подверглась бичеванию — чтобы я мне стать для другого мужчины тем же, чем ты стал для другой женщины? Да не будет этого! Но я, несмотря на все принуждения, выдержала до конца, а тебя никто не продавал в рабство, никто не бичевал, — и ты вступаешь в брак! Если есть в тебе хоть сколько-нибудь благодарности за все, что я выстрадала из-за тебя, попроси жену твою, пусть она отошлет меня, как обещала; а эти две тысячи, которые заплатил за меня Сосфен, поверь их мне, поручись за меня Мелите, что я их выплню; ведь близок Византий. Если же тебе придется самому заплатить, считай это вознаграждением мне за все, что я выстрадала за тебя. Будь здоров и наслаждайся новым браком. Я же пишу тебе это письмо еще девушкой“.

XIX

Когда я прочитал это, чего только со мной ни сделалось! Я пылал, бледнел, удивлялся, не верил, радовался, горевал. Потом я говорю Сатиру: „Из Анда, что ли, ты приходишь с этим письмом? Что это значит? Левкиппа опять ожила?“

„Вот именно,—отвечал тот,—и это та самая, кого ты видел в поле. Тогда ее никто не узнал бы на вид, такой молоденькой она сделалась; а ее изменили так остриженные волосы“.

„В твоих руках такое великое счастье,—воскликнул я,—и ты радуешь только мои уши и не показываешь этого счастья также и моим глазам?“

„Успокойся,—отвечал Сатир,—удержись и молчи, чтобы не погубить всего дела, пока мы не обдумаем его более основательно. Ты видишь, как первая из ефесских женщин безумствует из-за тебя, а мы одиноки и окружены опасностями“.

„Но я не могу!—воскликнул я.—Радость разливается по всем путям моего тела. Но смотри, она упрекает меня своим письмом!“

И снова я взялся за письмо, как будто видел сквозь него Левкиппу; я читал слово за словом и приговаривал: „Справедливо ты упрекаешь меня, моя возлюбленная! Ты все претерпела из-за меня; многих бедствий стал я для тебя виновником!“

Когда же я дошел до бичей и пыток, которыми истязал ее Сосфен, я плакал, как будто видел самые эти пытки; ибо рассудок, посылая очи моей души навстречу вести, приносимой письмом, показывал то, что мне виделось, словно оно действительно передо мной совершалось. Читая, как она упрекает меня за мой брак, я краснел, словно захваченный на месте преступления прелюбодей. Так стыдился я письма ее.

XX

„Увы, как мне оправдаться, Сатир?—сказал я.—Я уличен, Левкиппа осудила меня; может быть, она меня ненавидит. Но расскажи же, как она спаслась, и чье тело мы похоронили?“

„В свое время она сама это тебе расскажет,—отвечал Сатир,—а теперь ты должен написать ей ответ и умиловить девушку. Ведь и я поклялся ей, что ты против воли женился на Мелите“.

„Так ты сказал ей, что я женился на ней!—вскричал я.—Ты погубил меня!“

„Вот простота! Да разве весь город не знает о твоём браке?“

„Но я не женился на ней, Сатир, клянусь Гераклом и своею Судьбой!“

„Шутишь, дорогой мой; ты спишь с ней“.

„Я знаю, что говорю вещи невероятные, но еще ничего у нас не было; до сего дня Клитонфонт не прикасался к Мелите. Но, что мне писать, говори! Меня страшно поразило все, что произошло, и я не знаю, что делать“.

„Я не мудрее тебя,—ответил Сатир,—но любовь сама подскажет тебе. Только поскорее!“

XXI

Я начинаю писать:

„Привет тебе, владычица моя Левкиппа!

Я несчастлив в своем счастье, потому что, находясь вблизи тебя, я тебя, которая так близко от меня, вижу только в письме, как будто ты была далеко. Если ты ожидаешь правды, если ты не осуждаешь меня заранее, ты узнаешь, что я, подобно тебе, сохраняю свою девственность, если бывает вообще девственность у мужчин. Но если ты уже ненавидишь меня, не выслушав моего оправдания, клянусь тебе сохранившими тебя богами, скоро я оправдаюсь во всем. Будь здорова, возлюбленная моя, и будь милостива ко мне“.

Я передал письмо Сатиру и просил его сказать Левкиппе обо мне все, что нужно; затем, исполненный одновременно радости и горя, я снова пошел на пир. Я знал, Мелита не допустит, чтобы в эту ночь не состоялся наш брак; я же, получив обратно Левкиппу, не в силах был на другую женщину даже и взглянуть. Лицо свое я силой заставил сохранять то же выражение, что и раньше; но всецело совладать с собой я не мог. Когда мое волнение побеждало меня, я ссылаясь на то, будто меня охватывает озноб; Мелита же поняла, что это только предлог, чтобы нарушить мое обещание; но что это предлог, изблечить меня не могла. Не прикоснувшись к еде, я встаю, чтобы пойти лечь, а она сейчас же, следом за мной, на половине обеда, поднимается тоже.

Когда мы пришли в опочивальню, я стал еще решительнее притворяться больным, а Мелита начала умолять меня и говорить: „Что же ты делаешь, доколе будешь ты губить меня? Ведь вот мы и море переплыли, вот и Ефес — срок, назначенный для нашего брака. Какого дня нам еще ждать? Доколе будем мы спать один возле другого, как спят в святилище? Ты показываешь мне многоводную реку и мешаешь напиться; столько времени я имею перед собою воду и жажду, хотя сплю у самого родника. Для меня ложе твое, что для Тантала пища и питье!“

Так она говорила и плакала, положив голову ко мне на грудь, и так жалостно, что и моя душа стала страдать. Я не знал, как мне быть; мне казалось, что упреки ее справедливы. Тогда я говорю ей:

„Клянусь тебе отеческими богами, дорогая моя, я и сам страстно стремлюсь ответить твоему желанию. Но не знаю,—прибавил я,—что со мной сделалось. Болезнь внезапно овладела мною, а ты знаешь, Афродита — ничто, когда нет здоровья“.

Говоря это, я утирал ее слезы и новыми клятвами пытался уверить, что скоро все, чего она хочет, исполнится.

XXII

В тот день она с большим трудом это вынесла; а на следующий призвала служанок, которым поручила заботу о Левкиппе, и прежде всего спросила их, достаточно ли хорошо они за ней ухаживают, а когда те ответили, что не упускают ничего из того, что ей подобает, Мелита приказала привести девушку к себе. Когда же Левкиппа пришла, она сказала: „Мне не к чему говорить тебе, как человеколюбиво я к тебе отношусь, ты это и так знаешь; но в чем можешь, отплати мне такой же милостью! Я слышала, будто вы, фессалийские женщины, умеете приворожить своих возлюбленных так, что они уже на других женщин не смотрят, а к той, что его приворожила, юноша относится так, словно в ней для него заключен весь мир. Дай мне такое зелье, милая; я пылаю. Ты видела юношу, который вчера гулял вместе со мной?“

„Ты говоришь о своем муже?—прервала, с большим коварством, Левкиппа.—Ведь я это слышала от слуг“.

„О каком муже?—отвечала Мелита.—У нас с ним столько же общего, как у двух камней. Нет, меня затмевает мертвая соперница! Ест ли он, или спит он не может забыть имени Левкиппы; так он ее зовет. Я, моя дорогая, из-за него провела четыре месяца в Александрии, прося, умоляя, обещая; чего только

я ни говорила, чего я ни делала, чтобы смягчить его! Но он на все мои просьбы был словно железный или деревянный; и время на него едва действует; он позволил только смотреть на себя. Клянусь тебе самой Афродитой! Вот уже пятые сутки, как я сплю с ним вместе и поднимаюсь такою же, как если бы он был евнухом; я как будто влюблена в статую; одни только глаза мои обладают возлюбленным.

И вот я обращаюсь к тебе, как женщина к женщине, с той же самой просьбой, с какой и ты вчера обратилась ко мне: дай мне какое-нибудь средство против этого гордеца; ты спасешь душу мою, которая уже растаяла от любви!

Левкиппа, когда услышала это, обрадовалась, что у меня ничего не было с этой женщиной, ответила, что, если та позволит ей, она поищет травы, когда будет в поле, и удалилась; ведь она думала, что ей не поверят, если она станет отказываться, и потому, думается мне, и дала свое обещание. А Мелита уже от одной надежды почувствовала облегчение; ведь все приятное, даже когда его еще нет, радует самими надеждами.

XXIII

А я ничего не знал обо всем этом и терял мужество, размышляя о том, как бы мне и в ближайшую ночь оттолкнуть от себя эту женщину и как мне получить возможность встретиться с Левкиппой. Думается мне, что и Мелита предавалась тем же самым размышлениям. А чтобы Левкиппа могла отправиться ради нее в поле и к вечеру вернуться обратно, она собиралась предоставить той повозку.

Мы же отправились на пир. Только что мы возлегли, как услышали на мужской половине дома громкий шум и беготню; вдруг вбегает один из слуг и, еле переводя дыхание, говорит: „Ферсандр жив и прибыл сюда!“

Этот Ферсандр был муж Мелиты, которого она считала погибшим в море: дело в том, что некоторые из сопровождавших его

рабов, когда перевернулся корабль, спаслись и, решив, что Ферсандр утонул, сообщили об этом Мелите.

Не успел раб вымолвить это, как по пятам за ним врывается и сам Ферсандр, — он по дороге разузнал все обо мне и спешил, чтобы успеть захватить меня. От изумления и неожиданности Мелита вскочила со своего места, она попыталась обнять мужа, но тот изо всех сил оттолкнул ее от себя. Он увидел меня и с воплем: „Вот он, этот прелюбодей!“ бросился на меня и нанес мне по щеке удар, преисполненный ярости. Он потащил меня за волосы, поверг на пол, обрушился на меня и осыпал меня ударами. Я же, как во время мистерий, ничего не понимал: что это за человек такой, чего ради он меня колотит; подозревая, однако, что это сумасшедший, я побоялся обороняться, хотя и мог бы это сделать. Когда же мы оба устали, он — колотить меня, я — философски выносить его удары, я встал и говорю ему: „Но кто же ты такой? За что ты меня так изуродовал?“ А Ферсандр впадает в еще большую ярость из-за того, что я посмел подать голос, ударяет меня опять и требует цепей и оков. Меня схватывают и ведут в темницу.

XXIV

Пока все это происходило, я и не заметил, как у меня выпало письмо Левкиппы: оно было у меня под хитоном, привязанное к шнуркам одежды. Мелита потихоньку подобрала его: она боялась, как бы это не оказалось одной из ее записок, обращенных ко мне. Когда же, оставшись одна, она прочла письмо и нашла в нем имя Левкиппы, она поражена была в самое сердце, как только узнала это имя: она никак не думала, что Левкиппа жива, так как много раз слышала, что та умерла. А прочитав дальше, разобрав письмо до конца, она поняла всю правду, и душа ее раздиралась одновременно многими чувствами: стыдом, гневом, любовью, ревностью. Она стыдилась мужа и сердилась на письмо, любовь гасила гнев, ревность разжигала любовь, и, наконец, любовь осилила.

XXV

Уже приближался вечер, а Ферсандр, после первого приступа своей ярости, убежал к одному из своих приятелей, жившему поблизости. Тогда Мелита переговорила со стражем, которому доверена была охрана меня, тайно от всех остальных пришла ко мне, поставив двух слуг перед темницей, и застала меня лежащим на земле. Она встала передо мною и порывалась высказать все сразу: черты лица ее выражали все, что она хотела вымолвить.

„О, я несчастная! На горе себе я увидела тебя, понапрасну я с первого раза влюбилась в тебя с таким безумием! Ненавидимая тобою, я тебя, ненавистника моего, люблю; мучимая тобою, тебя, мучителя моего, терплю; и даже надменность твоя мою любовь не пресекает! О, чета враждебных мне чародеев, колдун и колдунья! Один из вас столько времени насмеялся надо мною; другая — ушла, чтобы принести мне зелье. А я, злополучная, не знала, что у самых страшных врагов моих против себя самой выпрашиваю зелье любовное!“

С этими словами она швырнула мне письмо Левкиппы. Увидя это и узнав письмо, я содрогнулся и устался в землю, изобличенный в своем преступлении; она же снова начала изливать свою скорбь:

„О, горе мне несчастной! Ведь из-за тебя я и мужа потеряла. Теперь я не буду уже обладать тобою, даже глаза мои не увидят тебя, а ты мог мне дать больше того! Знаю, что мой муж меня ненавидит, знаю, что он обвинил тебя в прелюбодействе, прелюбодействе бесплодном, прелюбодействе безрадостном, которое принесло мне одно лишь поругание. Другие женщины в воздаяние за свой позор получают наслаждение, утоляющее их страсть, а я, злосчастная, позор извела, а наслаждение — никогда и нигде. Неверный! Варвар! Ты дерзнул погубить женщину, которая так тебя любит, и после этого еще называешь себя рабом Эрота? Не испугался ты разве гнева его?“

Не страшен тебе его огонь? Не считаешь ты его таинства? Не сломили твою гордость эти очи, слезами орошенные? Нет, ты суровее разбойников! Ведь и разбойники слез пугаются. Ничто не возбудило тебя послужить Афродите, хотя бы один только раз, ни мольбы мои, ни время, ни сплетение наших тел; нет, — и это всего оскорбительнее: ты прикасался ко мне, целовал — и подымался потом так, как будто и ты был женщиной. Это какая-то тень брака! Ведь ты спал не с какой-нибудь старухой, не с женщиной, которая отвращалась от твоих объятий, а с женщиной молодой, влюбленной, другие бы сказали — прекрасной. Евнух! Андрогин! Ненавистник красоты! Я проклинаю тебя справедливейшим проклятием: да воздаст Эрот тебе тем же и в твоей любви!“

XXVI

Так говорила она и горько плакала; а я все молчал и смотрел в землю. Тогда, немного погодя, она заговорила уже по-иному:

„То, что я сейчас сказала, любимый мой, гнев говорил и горе; а то, что я скажу теперь, будет говорить любовь. Когда я гневаюсь, я горю; когда я оскорбляюсь, я люблю. Заклучим теперь мир, сжался надо мною! Я уже не прошу больше о многих днях и долгом браке, о чем я, несчастная, мечтала перед тем; достаточно мне и одного объятия; я прошу о малом лекарстве от столь грозной болезни. Затуши хоть немного это пламя! Если же я в чем опрометчиво тебя оскорбила, прости мне, мой возлюбленный; ведь несчастная любовь неистовствует. Я знаю, что мне не подобает так поступать, но я не стыжусь говорить тебе об Эротовых таинствах: ведь я говорю с мужем уже посвященным; ты знаешь, как я страдаю. Для других людей незримы удары этого бога, никто не в силах показать стрелы, им посылаемые; одни лишь влюбленные знают, как мучительны для людей раны, им наносимые. Только один сегодняшний день принадлежит мне, я требую, исполни, что ты обещал! Вспомни храм Исиды, уважь

клятвы, принесенные там! Если бы ты захотел жить со мною, как ты поклялся, я не обратила бы внимания на тысячи Ферсандров: но если после того, как ты нашел Левкиппу, для тебя невозможен брак с другою женщиною, я охотно и в этом уступаю тебе: я знаю—я побеждена! Я не требую большего, чем могу получить: против меня ополчились все чудеса—оживают даже мертвецы. Ты, море, когда я по тебе плыла, меня сохранило, а сохранив меня, погубило, выслав против меня двоих мертвецов! Довольно того, что ожила одна Левкиппа, чтобы не горевал больше Клитифонт, а теперь к нам явился и жестокий Ферсандр. Тебя избили на глазах у меня, и я не могла помочь тебе, несчастная. На это лицо обрушились удары, о боги! Я думаю, Ферсандр был слеп. Но теперь я молю тебя, Клитифонт, повелитель мой, ведь ты повелитель моей души: отдайся мне сегодня в первый и в последний раз! Для меня же этот краткий миг будет многими днями. Этим ты не погубишь больше Левкиппы, это не принесет ей даже мнимой смерти. Не презирай моей любви, благодаря которой ты достиг величайшего счастья,—ведь она отдала тебе Левкиппу. Если б я не полюбила тебя, если б я не привела тебя сюда, Левкиппа была бы еще для тебя мертва.

Ведь бывают, Клитифонт, подарки Судьбы. Когда кто случайно находит сокровище, он чтит место находки, воздвигает алтарь, приносит жертву, украшает землю цветами; а ты нашел у меня сокровище Эрота и пренебрегаешь благодарениями. Представь себе, что Эрот говорит тебе моими устами: „Сделай это, Клитифонт, для меня, твоего мистагога: не удайся, оставив Мелиту без посвящения: и ее пламя—мое пламя“. Слушай, как я обо всем позаботилась для тебя! Ты будешь сейчас свободен от оков, хотя бы Ферсандр был против этого: ты получишь пристанище на какой тебе угодно срок у моей молочной сестры: а с самого утра ожидай к себе Левкиппу. Она говорила, что на всю ночь отправится в поле за травами, собирать их при свете луны,—так она насмеялась надо мной! Я попросила у нее

зелья против тебя, потому что считала ее за фессалиянку: что же мне еще оставалось делать, раз я во всем потерпела неудачу, как не собирать травы и зелья? Это последнее убежище для тех, кто несчастлив в любви. А Ферсандр—и об этом тебе не надо беспокоиться—убежал к своему приятелю, когда в ярости выскочил из моего дома: мне кажется, какой-нибудь бог прогнал его прочь, чтобы я могла получить от тебя последнюю милость. Так отдайся же мне!“

XXVII

Так мудро она рассуждала,—ведь Эрот научает и речам,—а затем сняла с меня оковы, стала целовать мои руки, подносила их к своим глазам, к своему сердцу и сказала:

„Ты видишь, как оно трепещет, как оно бьется сильными биениями, полными смертной тоски и надежды. Пусть же оно исполнится и наслаждением, ведь оно как будто умоляет тебя своим трепетанием!“

А я, когда она освободила меня и, рыдая, обняла, испытал то же, что каждый человек испытал бы на моем месте: я на самом деле почувствовал страх перед Эротом, как бы мне не навлечь на себя гнев этого бога, особенно раз я получил обратно Левкиппу, а затем собирался отделаться от Мелиты: да ведь и то, что должно было произойти, не было браком, а лишь исцелением страждущей души. Итак, я позволил ей обнимать меня, я не препятствовал ей, когда она обвивалась вокруг меня своим телом, и случилось то, чего желал Эрот, и нам не нужно было ни ложа, ни других любовных приготовлений, ибо Эрот сам делает свое дело, он изобретательный хитрец и в любом месте справляет свое таинство. А в делах Афродиты безыскусственность гораздо слаще многих хлопот—она приносит естественное наслаждение.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

После того, как я исцелил Мелиту, я сказал ей: „Устрой мне безопасное бегство и все остальное, что ты обещала относительно Левкиппы“. — „О ней не беспокойся, — сказала Мелита, — и считай, что Левкиппа уже у тебя. Ты же надень мою одежду и закрой лицо пеплосом. Путь к дверям укажет тебе Меланто, а у самых дверей тебя будет ждать юноша, которому передано от меня повеление доставить тебя в дом, где ты найдешь Клиния и Сатира; будет там и Левкиппа“. Говоря это, Мелита одела меня в свои одежды. Осыпая поцелуями, она говорила: „Как ты похорошел в этом одеянии! Таким я видела когда-то Ахилла на картине. Спасайся, возлюбленный, и сохрани эту одежду на память, а мне оставь свою, чтобы я, надевая ее, могла облекаться в тебя“. Она дает мне сто золотых и призывает Меланто; это была верная служанка, которая сторожила у дверей. Когда она вошла, Мелита передает ей обо мне все как было условлено, и приказывает вернуться, как только я выйду из ворот.

II

Итак, я, переодевшись, ухожу, а сторож, приставленный к моей темнице, уступает мне дорогу, думая, что это его госпожа, — Меланто сделала ему знак; пройдя необитаемые части дома, я достигаю отдаленной двери, и меня встречает тот, кому это было приказано Мелитой. Это был вольноотпущенник из

числа тех, которые были с нами на корабле, человек вообще дружелюбно расположенный ко мне. Меланто возвратилась и, так как сторож только что запер темницу, снова велела ему открыть. Сторож открыл, она прошла мимо, объявила Мелите о том, что я вышел, и вызывает сторожа. Тот, увидя неожиданное зрелище, естественно был поражен и стоял молча. Мелита говорит ему: „Мне понадобился этот обман не потому, чтобы я не была уверена, что ты захочешь выпустить Клитофонта, но для того, чтобы у тебя было оправдание против обвинения Ферсандра, ведь теперь ты ничего не знаешь. Вот эти десять золотых — дар тебе, дар от Клитофонта, если ты останешься здесь; если же ты сочтешь за лучшее бежать, то это — путевые деньги“. — „Как ты решишь, госпожа, то я и сочту лучшим“, — сказал Пасион, таково было имя сторожа. Мелита решила, чтобы он на время скрылся, — когда она уладит дело с мужем и его гнев утихнет, пусть Пасион возвращается.

III

Так Пасион и сделал. На меня же снова обрушилась моя обычная Судьба и сыграла новую шутку: Судьба сталкивает меня с возвращающимся Ферсандром! Друг, к которому он ушел, уговорил его не спать вне дома, и он, пообедав, направился обратно домой. Был праздник Артемиды, весь город был полон пьяных, и всю ночь на площади было множество народа. Это только и внушало мне опасение; я не знал, что надо мной стряслось нечто более страшное. Дело в том, что купивший Левкиппу Сосфен, — тот, кого Мелита лишила должности управляющего, — узнав о прибытии господина, не оставил управления имением и хотел отомстить Мелите. Прежде всего он поспешил обвинить меня перед Ферсандром и наклеветал ему на меня. Потом он повел разговор о Левкиппе, выдумав правдоподобный рассказ. Отказавшись от мысли самому овладеть Левкиппой, Сосфен начинает сводить ее с господином, чтобы отдалить его от Мелиты.

„Я купил девушку красивую, красоты неописанной, господин мой. Верь тому, что я говорю о ней, так, как будто ты видел ее. Я берег ее для тебя; я слышал, что ты жив, и верил тому, чего хотел. Я только не подавал вида, чтобы ты захватил госпожу на месте преступления и чтобы не насмеялся над тобой приехавший с чужбины бесчестный прелюбодей. Госпожа отняла ее вчера у меня и намеревалась отослать, но судьба сохранила ее для тебя, так что ты можешь овладеть такой красотой. Теперь она на поле, посланная зачем-то госпожей. Прежде чем она успеет вернуться, я, если захочешь, запру ее, и она будет принадлежать тебе“.

IV

Ферсандр похвалил его и приказал привести сказанное в исполнение. Сосфен поспешно отправляется на поле; осмотрев хижину, в которой предстояло ночевать Левкиппе, он берет двух работников, велит им обмануть находящихся с Левкиппой служанок и, отозвав их, как можно дольше задержать разговорами. Двух других людей привел он сам. Увидя, что Левкиппа одна, он бросается на нее, зажимает ей рот, схватывает и уносит в сторону, противоположную той, куда ушли служанки. Доставив ее в уединенный домик и опустив на землю, он говорит: „Я несу тебе гору благ, но ты в счастье не забывай меня. Не страшись похищения и не думай, что оно произошло на беду тебе: похищение доставляет тебе любовника в лице моего господина“. Левкиппа, пораженная неожиданностью несчастья, молчала, а Сосфен отправляется к Ферсандру и рассказывает обо всем, что произошло. Ферсандр как раз возвращался домой. Сосфен объявил ему о том, что было с Левкиппой, и с жаром расписывал ее красоту. Ферсандр, увлеченный этим поистине прекрасным образом красоты, приказал указать дорогу и готовился отправиться к Левкиппе, — ночное празднество продолжалось, и до поля было приблизительно четыре стады.

V

В это время я в одежде Мелиты неосторожно попадаю им на глаза. Сосфен перзый узнал меня и говорит: „Смотри, этот прелюбодей идет нам навстречу: он в праздничном настроении, и на нем добыча от твоей жены“. Юноша, шедший впереди, заметил обоих издали и убегает, не успев в страхе предупредить меня. Они меня увидели и схватили. Ферсандр кричит, сбегается толпа ночных гуляк. Ферсандр стал еще больше жаловаться, выкрикивая всякие ругательства — „прелюбодей, вор“. Он ведет меня в тюрьму и передает туда, предъявляя обвинение в прелюбодействе. Меня все это не огорчало — ни оков позор, ни слов поношение. Я был твердо уверен, что докажу в своей речи, что я не прелюбодей, так как открыто вступил в брак. Но я был охвачен страхом за Левкиппу, которая не была еще мне окончательно возвращена. Душа — природный вещатель беды, о благе же мы очень редко имеем верное предчувствие. Я не мог придумать ничего успокоительного относительно Левкиппы, но все казалось мне подозрительным и полным ужаса.

VI

Так я скорбел душой. А Ферсандр, заключив меня в тюрьму, тотчас же бросился к Левкиппе. Дойдя до хижины, они застают Левкиппу лежащей на земле; ум ее был занят тем, что она услышала от Сосфена, и черты ее лица обнаруживали сразу печаль и страх. Ведь не верно, как мне думается, сказано, что ум совсем неуловим: он ясно отражается на лице, как в зеркале. Когда ум ликует, он зажигает в очах отображение радости, когда тоскует — покрывает морщинами лицо, так что на нем можно видеть несчастье. Когда Левкиппа услышала, что открываются двери, она слегка подняла голову, — надо сказать, что в помещении был светильник, — а затем опять потупила взор. Ферсандр, увидя на мгновение ее красоту, точно перехватив молнию, всей душой устремился к ней, — ведь красота преимущественно пребывает

в очах; он стоял, скованный этим зрелищем, ожидая, когда она опять взглянет на него. Видя, что она поникла к земле, он говорит: „Отчего ты смотришь вниз, женщина? Для чего в землю стекает очей твоих красота? Пусть лучше она течет к моим очам“.

VII

Услыхав это, она залилась слезами, и слезы составляли особую красоту Левкиппы. Ведь от слез очи набухают и становятся более выпуклыми; если они безобразны и невыразительны, слеза увеличивает их безобразие, а если глаза нежны, если зрачки черны и слегка окружены белым венком, то, увлажненные слезами, они уподобляются набухшей груди истока. Когда соленая влага слез течет вокруг очей, то белое светлеет, черное багровеет, и одно уподобляется фиалке, а другое — нарциссу; а слезы сияют, скопляясь в очах. Таковы были слезы Левкиппы, самую печаль в красоту переборовшие; если бы после падения они могли сгуститься, то земля имела бы новый янтарь. Ферсандр, увидев ее, красотой ее был поражен, печалью смущен, и очи его наполнились слезами. Слеза по своей природе более всего способна внушать жалость тем, кто ее видит, а женская — особенно: ведь чем слезы обильнее истекают, тем больше чар рожают. А если плачущая прекрасна и смотрящий влюблен, то и его очи не остаются безучастными, но отражают в себе ее слезы. Ведь красота прекрасных людей в очах пребывает; потому, изливаясь оттуда на очи смотрящих, она там отдыхает и источник слез за собой увлекает. Влюбленный, получив то и другое, красоту в душе своей укрывает, слезу на очах сохраняет; он молится о том, чтобы она была замечена, и, хотя может утерять ее, но не хочет: он бережет слезу как можно дольше, боясь, что она преждевременно убежит. Он сдерживает также движение очей, чтобы слеза не упала прежде, чем возлюбленная ее не увидала, и считает слезу наглядным признаком своей любви. Нечто подобное происходило и с Ферсандром: он испытывал естественное

человеческое чувство, а перед Левкиппой гордился тем, будто плачет потому, что она проливает слезы. Склонившись к Сосфену, он говорит ему: „Постарайся пока утешить ее: видишь, в каком она горе. А я уйду, хотя и против своего желания, чтобы не докучать ей. Когда она успокоится, тогда я поговорю с ней. А ты не бойся: скоро я исцелю твои слезы“. Прежде чем выйти, он опять говорит Сосфену: „Скажи ей обо мне то, что следует, а на заре, устроив дело, приходи ко мне“. Сказав, он удалился.

VIII

В то время, как все это происходило, Мелита, после свидания со мной, послала на поле юношу за Левкиппой, позвать ее, так как травы не были больше нужны. Тот, придя на поле, находит там служанок, ищущих Левкиппу и сильно встревоженных; так как ее нигде не было, он поспешно возвращается и объявляет о случившемся. Услыхав о том, что я заключен в тюрьму, затем о Левкиппе, об исчезновении, Мелита почувствовала, как ее окружили тучи печали. Она не была в состоянии угадать истину, но подозревала Сосфена. Желая заставить Ферсандра открыто предпринять поиски Левкиппы, она придумала хитрую речь, в которой истина была перемешана с выдумкой.

IX

Войдя в дом, Ферсандр опять принялся кричать: „Ты прелюбодеея выкрала, ты от оков его освободила и из дому вывела: это твоих рук дело. Почему же ты не последовала за ним? Почему ты остаешься здесь, а не уходишь к возлюбленному, чтобы посмотреть, как он связан крепчайшими узами?“

„Какого прелюбодеея? — говорит Мелита. — Что с тобой? Если бы ты захотел, оставив безумие, выслушать все, то легко узнал бы истину. Об одном прошу тебя, будь справедливым судьей и, очистив от клеветы свой слух, изгнав из сердца гнев, поставь судьей один только рассудок и выслушай. Этот юноша не был

для меня ни любовником, ни мужем. Родом он финикиец и не уступает ни одному тирийцу. Он также совершил несчастливое плавание, весь груз его стал добычей моря. Услыхав об его несчастье, я пожалела его, вспомнила о тебе и дала ему приют. „Может быть, — говорила я, — и Ферсандр таким же образом где-нибудь блуждает. Может быть, и его пожалеет какая-нибудь женщина. Если же он действительно погиб в море, как гласит молва, то почти как подобает, остатки кораблекрушений“. Сколько потерпевших кораблекрушение я кормила! Сколько погибших на море хоронила! Если я находила доску с разбитого корабля, приставшую к земле, я говорила: „Может быть, на этом корабле плыл Ферсандр“. И этот юноша был одним из спасенных на море; оказывая ему почет, я служила тебе. Как и ты, он пустился в плавание; я почтила подобие твоего несчастья. Но почему я привезла его с собой сюда? Правдив рассказ мой: он оплакивал свою жену, а она пропала, но не умерла; кто-то сказал ему об этом, а также о том, что она находится здесь, у одного из наших управляющих — он назвал Сосфена. Так на самом деле и было: прибыв сюда, мы нашли эту женщину. Вот почему он сопровождал меня. Сосфен ведь у тебя, а женщина находится в имении. Проверь все, что я тебе сказала. Если я в чем-нибудь солгала, то, значит, я действительно нарушила верность“.

X

Так она говорила, притворившись, что не знает об исчезновении Левкиппы. Она рассчитывала, в случае, если Ферсандр будет стремиться узнать истину, привести тех служанок, с которыми вышла Левкиппа; если она не возвратится на заре, служанки будут говорить, что девушки нигде не видно, — ведь так на самом деле и окажется. Она, Мелита, так открыто займется поисками, что принудит к тому же и Ферсандра. И вот, правдоподобно изложив свою выдумку, она добавила: „Верь этому, муж мой; в течение нашей совместной жизни ты, возлюбленный,

ни в чем меня не заподозревал, и теперь не доверяй ничему такому. Эта молва распространилась из-за внимания, которое я оказывала юноше; большинство не знало причины моей близости к нему. Ведь и о тебе ходила молва, что ты умер. Молва и клевета — два родственных бедствия: молва — дочь клеветы. И клевета — меча острее, огня сильнее, сирен нежнее; а молва — воды неуловимее, ветра стремительнее, крыльев быстрее. И вот, когда клевета, словно из лука, мечет слово, оно вылетает, как стрела, и ранит того, против кого направлено, хотя он и отсутствует; слушающий же легко подчиняется, огнем гнева загорается и против пораженного разъяряется. Молва, рожденная стрелой, течет сразу обильной струей и заливают слух у встречаемых; она проносится на огромном расстоянии, бушуя вихрем речей, и мчится, поднявшись на крыльях сплетен. Молва и клевета ведут теперь против меня войну; они завладели твоей душой и заперли двери твоего слуха для слов моих“.

XI

Говоря это, Мелита коснулась руки Ферсандра и хотела его поцеловать. Он несколько успокоился; на него подействовало правдоподобие ее рассказа. Совпадение того, что жена говорила о Левкиппе, со словами Сосфена отчасти подорвало его подозрение. Окончательно, однако, Ферсандр ей не поверил; ведь ревность, раз запав в душу, с трудом из нее изгоняется. Он встревожился, услыхав, что девушка — моя жена, и еще больше возненавидел меня. Сказав, что он проверит ее слова, он отправился спать один. Мелита же страдала в душе, так как не исполнила данного мне обещания. А Сосфен, проводив немного Ферсандра и дав ему обещание относительно Левкиппы, опять возвращается к ней и, придав своему лицу радостное выражение, говорит: „Дело сделано, Лакэна: Ферсандр влюблен и совсем сходит с ума по тебе, так что, пожалуй, он сделает тебя своей женой; это я устроил, я наговорил ему много чудесного о твоей

красоте и наполнил душу его твоим образом. Что же ты плачешь? Встань и принеси жертву Афродите в благодарность за удачу. Помни и обо мне“.

XII

„Да будет и у тебя такое счастье, какое ты мне приносишь“, отвечала Левкиппа. Сосфен, не поняв насмешки, и думая, что она говорит искренно, ласково добавил: „Я хочу рассказать тебе о Ферсандре, кто он такой, чтобы ты еще больше радовалась. Он—муж Мелиты, которую ты видела в имении, первый из всех ионийцев по своему происхождению; богатство его превышает его знатность, а выше богатства—доброта его; возраст его ты сама могла определить: он молод и прекрасен, а это больше всего радует женщину“. После этого Левкиппа не могла больше выносить болтовни Сосфена. „О, злое чудовище,—сказала она,—до каких пор ты будешь осквернять мой слух? Что у меня общего с Ферсандром? Пусть он будет прекрасен для Мелиты, богат для города, добр и великодушен для тех, кто в этом нуждается; мне же до этого всего нет дела, хотя бы он был Кодра знатней, Креза богаче. Что ты перечисляешь мне кучу чужих похвал? Тогда я буду восхвалять Ферсандра, как хорошего человека, когда он перестанет посягать на чужих жен“.

XIII

„Ты шутишь“, с поспешностью воскликнул Сосфен. „Как шучу?—возразила она.—Оставь меня, пусть меня мучит Судьба и овладевшее мною злое божество. Ведь я знаю, что я в вертепе разбойников“.—„Ты, кажется, страдаешь неизлечимым безумием,—сказал он:—вертепом считаешь ты—богатство, брак, роскошь? Ты получила от Судьбы мужа, столь любимого богами, что они возвратили его из самых врат смерти“. Затем он рассказал о кораблекрушении, при чем приписывал богам спасение Ферсандра и наговорил больше чудес, чем передают об Арионовом дельфине. Так как Левкиппа не произносила ни слова даже

в то время, пока он рассказывал всяческие сказки, то он сказал ей: „Подумай, что для тебя лучше, и не говори ничего такого Ферсандру, чтобы не рассердить хорошего человека: в гневе он ужасен. Помни, доброта, встречая благодарность, увеличивается, а претерпев поругание, гневом раздражается. Избыток добродушия соединен с таким же избытком гнева для наказания“.

XIV

Вот что было с Левкиппой. А Клиний и Сатир, узнав, что я заключен в тюрьму,—их известила об этом Мелита,—тотчас же с наступлением ночи пришли к темнице. Они хотели остаться со мной, но начальник тюрьмы не позволил этого и приказал им удалиться как можно скорее. Так он прогнал моих друзей вопреки их желанию, я же попросил их, если вернется Левкиппа, прийти ко мне на заре и рассказал об обещании Мелиты. Душа моя была на весах надежды и страха: и страшились надежды мои, и надеялся страх мой.

XV

С наступлением дня Сосфен поспешил к Ферсандру, а Сатир с Клинием—ко мне. Увидя Сосфена, Ферсандр принялся расспрашивать его, как обстоит дело с Левкиппой и убедил ли он ее уступить желаниям Ферсандра. Сосфен, скрывая правду, придумал очень похожую на истину ложь. „Левкиппа противится,—сказал он,—и неспроста, думаю я, противится она: она, кажется, подозревает, что ты, раз насладившись, покинешь ее, и медлит, боясь бесчестия“.—„Насчет этого пусть она будет спокойна,—говорит Ферсандр:—моя страсть к ней такова, что никогда не умрет. Одного я боюсь и одно только желаю узнать об этой девушке, действительно ли она стала женой того юноши, как мне рассказала Мелита“.

Обмениваясь такими речами, они дошли до хижины Левкиппы. Когда они приблизились к дверям, то услышали ее громкие жалобы и, стараясь не производить шума, стали за дверьми.

XVI

— „Увы, Клитонфонт,—так она много раз повторяла,—ты не знаешь, где я нахожусь (и куда меня заключили; и я не знаю, какая судьба завладела тобой, но оба мы от одного и того же неведения страдаем. Только бы Ферсандр не застал тебя в своем доме! Только бы ты не потерпел какого-нибудь оскорбления! Часто я хотела спросить Сосфена о тебе, но не знала, как задать вопрос. Спросить, как о своем муже, я боялась, чтобы не раздражить Ферсандра и не навлечь на тебя какой-нибудь беды. Спросить, как о чужом?—но и это вызвало бы подозрение: ведь какое может быть дело женщине до того, что ее не касается! Сколько раз я пыталась преодолеть себя, но не могла заставить свой язык говорить; только одно повторяла я: „Мой Клитонфонт, одной Левкиппы муж, муж верный и постоянный, которого не склонила другая женщина, хотя и спала с ним; а я, бездушная, поверила слухам и, увидя тебя на поле, спустя столько времени, не осыпала тебя поцелуями! А теперь, если придет Ферсандр и начнет расспрашивать, что я скажу ему? Не открыть ли ему, что мы разыгрывали представление, и не рассказать ли правду? Не считай меня рабыней, Ферсандр. Я—дочь стратега византийского, первого гражданина тирийского жена. Не фессалиянка я; зовут меня не Лакэной, — это имя в посрамление пиратами мне дано; даже имя мое разбойниками похищено. Муж мой—Клитонфонт, родина—Византий, Сострат—отец, мать—Панфия. Но ты не поверишь моим словам, а если даже и поверишь тому, что я скажу о Клитонфонте, то боюсь, как бы моя несвоевременная смелость не погубила возлюбленного. Лучше я снова облекусь в свою роль, лучше снова приму облик Лакэны“.

XVII:

Услыхав это, Ферсандр отступил немного и говорит Сосфену: „Ты слышал невероятные речи, исполненные любви, какие слова она произнесла, как горевала, как себя обвиняла? Прелюбодей

везде одерживает надо мною верх. Мне кажется, он и чародей, а не только разбойник. Мелитой он любим, Левкиппой любим,—о Зевс, почему я не Клитонфонт!“—„Не следует, однако, господин мой, отчаиваться в нашем деле,—сказал Сосфен,—нужно направиться к девушке. Ведь если она и любит теперь этого проклятого прелюбодея, то все же она будет страдать по нем лишь до тех пор, пока знает его одного и не имела общения с другим; а раз ты достигнешь того же, что и он,—ведь ты на много превосходишь его красотой,—она совсем забудет о нем. Ведь старую любовь затмевает новая любовь, женщина же обыкновенно любит того, кого видит, и об отсутствующем помнит только до тех пор, пока не найдет нового; а получив другого, она изглаживает память о первом из своей души“.

Услыхав это, Ферсандр ободрился: мы легко верим словам, подающим нам надежду на успех в любви. Страсть получает желанного союзника и будит надежду.

XVIII

Ферсандр, выждав немного после того, как Левкиппа перестала говорить сама с собой,—чтобы не явилось подозрения, будто он подслушал ее речи,—входит к ней, придав себе наиболее привлекательный, по его мнению, вид. Увидя Левкиппу, он вспылал душой; ему показалось, что теперь она стала еще прекраснее. Всю ночь, когда он был вдали от девушки, он поддерживал огонь, а теперь сразу оживил пламя, воспользовавшись, как горючим веществом, лицемерием ее. Слегка склонившись, Ферсандр обнял девушку, но затем, преодолев себя, сел и повел разные речи, лишённые смысла. Ведь таковы влюбленные, когда они хотят беседовать со своими возлюбленными; они не вкладывают смысла в свои слова, душа их устремлена к возлюбленной, они говорят только языком, без возницы—разума. Во время беседы, Ферсандр прикоснулся рукой к шее Левкиппы и обнял девушку, намереваясь ее поцеловать, а она, предвидя направление руки, поникла и опустила голову на грудь. Он

все же обнял девушку и старался поднять ее голову, а она, защищаясь, никла и отражала от себя поцелуи. А когда дело дошло до рук, Ферсандра охватило любовное соревнование: поддерживая левой рукой лицо девушки, а правой схватив ее за волосы, он правой тянул ее назад, а левой поднимал вверх ее подбородок. Когда же он наконец прекратил борьбу — потому ли что добился, или не добился своего, или утомился, Левкиппа сказала ему: „Ты поступаешь не как свободный и благородный человек! Ты действуешь как Сосфен; раб достоин своего господина! Но от остального воздержись и не надейся на успех, разве только, если станешь Клитофонтом!“

XIX

Услышав это, Ферсандр был вне себя: ведь он любил и гневался. А гнев и любовь — два факела. Ведь у гнева есть свой огонь, по природе противоположный огню любви, а по силе такой же. Один принуждает ненавидеть, а другой заставляет любить. Рядом расположены источники того и другого огня: один в печени пребывает, другой в сердце бушует. И вот, когда оба они овладевают человеком, душа становится для них весами, а огонь того и другого на чашках качается. Оба они спорят за перевес; и чаще всего побеждает любовь, когда страсть имеет успех; если же любовница пренебрегает любовью, то сама любовь призывает на помощь гнев. Он, как сосед, повинует, и оба они зажигают огонь. Если же сам гнев захватывает одинокую любовь и овладевает ею вне ее обычного местопребывания, то непримиримый по своей природе гнев оберегает любовь от страсти не как друг, но, связав, как рабыню, завладевает страстью и не позволяет ей примириться с предметом любви, хотя бы любовь того и хотела. Любовь, затопляемая гневом, тонет и, стремясь подняться в свою область, оказывается уже не свободной: она вынуждена ненавидеть любимое. А когда гнев с бушеванием наполнит меру и, переполнив ее, переливается через край, то он, пресытившись, утомляется и, утомившись,

ослабевает; а любовь тогда защищается, вооружает страсть и побеждает уже уснувший гнев. Вспоминая оскорбления, которыми она в своем безумии подвергла любимую, любовь страдает, оправдывается перед возлюбленной, умоляет о свидании, возвещая, что гнев уже укрощен радостью. Добившись желаемого, любовь смягчается; опозоренная же, она опять погружается в гнев. А он пробуждается от сна и возобновляет прежнее, ведь в бесчестии гнев — союзник любви.

XX

Надеясь сначала на успех в любви, Ферсандр был всецело рабом Левкиппы, а обманувшись в своих надеждах, дал волю своему гневу. Он бьет ее по щекам, говоря: „О несчастная, поистине похотливая рабыня, — я все слышал, что ты говорила! Тебе не нравится, что я с тобой говорю, ты не считаешь великим счастьем целовать своего господина, ты еще кривляешься и притворяешься безумной! Ты, мне кажется, уже ходила по рукам: ведь ты любишь прелюбодея! Но если ты не хочешь познать мою любовь, так познай мою власть“.

„Если тебе угодно мучить меня, — сказала Левкиппа, — то я готова подвергнуться мукам, но насилия не потерплю“. И, увидя Сосфена, она обратилась к нему: „Свидетельствуй и ты, как я отношусь к оскорблениям; ведь ты нанес мне еще большую обиду“. Сосфен, почувствовав стыд, как человек уличенный, говорит: „Эту женщину, господин мой, следует бить плетью и подвергнуть тысяче пыток, чтобы научить ее не презирать своего господина“.

XXI

„Послушайся Сосфена, — говорит Левкиппа, — он дает тебе хороший совет; ставь орудия пытки! Несите колесо: вот руки, тяните их! Несите бичи: вот спина — бейте! Добудьте огонь: вот тело — жгите! Несите и железо: вот кожа — режьте! Борьбу необыкновенную увидите вы: против всех пыток борется

женщина одна и побеждает все! И ты называешь Клитонфа прелюбодеем, когда ты сам прелюбодей? И ты не боишься, скажи мне, своей Артемиды, но подвергаешь насилию деву в городе Девы? Владычица, где твои стрелы?" — „Ты дева? — сказал Ферсандр. — О дерзость, о смех! Дева, после того как ты переночевала с пиратами? Евнухами были для тебя пираты? Или это было убежище философов? Или никто из них не имел глаз?“

XXII

„Осталась ли я девой после Сосфена, — говорит Левкиппа, — спроси об этом самого Сосфена; он, действительно, был для меня разбойником; те были более сдержанны, чем вы, и никто из них не был таким насильником; а раз вы так поступаете, то здесь подлинно вертеп! И вы не стыдитесь делать то, на что не дерзнули даже разбойники? Ты, сам того не замечая, доставил мне еще большую похвалу своим бесстыдством; если теперь, в своем безумии, ты убьешь меня, то будут говорить: „Левкиппа — девушка и после разбойников, девушка и после Хэрея, девушка и после Сосфена.“ Но это еще скромная похвала, а величайшая похвала — она остается девушкой после Ферсандра, более необузданного, чем разбойники; так как он не мог насильно овладеть ею, то убил ее! Итак, вооружись, возьми бичи, колесо, огонь, железо, пусть выступит с тобой в поход и твой советчик Сосфен! Я же не вооружена, нахожусь в одиночестве, и вдобавок женщина. Одно у меня оружие — свобода, которая ударами не выбивается, железом не вырезается, огнем не выжигается! От нее я никогда не откажусь; если даже ты будешь жечь меня, то найдешь, что и огонь для меня не так горяч!“

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

I

Услышав это, Ферсандр был охвачен разнообразными чувствами: досадовал, негодовал, козни замышлял. Негодовал, так как был оскорблен; досадовал, так как потерпел неудачу; козни замышлял, так как был влюблен. Душа его разрывалась, он выскочил от Левкиппы, ничего ей не ответив. Выбежал он в сильном гневе; разобравшись же на досуге в душевных тревожениях и посоветовавшись с Сосфеном, отправился к начальнику тюрьмы и попросил его отравить меня. Тот отказался, так как боялся государственных властей: его предшественник был уличен в отравлении и приговорен к смерти. Тогда Ферсандр обратился к нему с другою просьбой: поместить в ту темницу, где я был заключен, кого-нибудь под видом одного из узников. Ферсандр выставил предлог, будто через этого человека он хочет узнать мои намерения. Начальник тюрьмы согласился и принял мнимого узника, который получал от Ферсандра очень искусные наставления и собирался завести разговор о Левкиппе, о том, будто она убита и убийство это подстроено Мелитой. Эту уловку придумал Ферсандр, чтобы я, узнав о смерти своей возлюбленной, не стал ее искать в случае моего оправдания. Мелита же была примешана к убийству, чтобы я, считая Левкиппу скончавшейся, не женился на влюбленной в меня Мелите и не остался здесь, держа Ферсандра в постоянном страхе в смысле безбоязненного обладания Левкиппой, но возненавидел, как это и естественно, Мелиту за убийство моей возлюбленной и совершенно удалился из этого города.

II

Лишь только мнимый узник очутился вблизи меня, начал он свою игру. С большим коварством поднял он вопль:

„Что за жизнь, — воскликнул он, — еще предстоит нам и к чему избегать опасностей? Нет, честного и справедливого поведения нам недостаточно! Ведь выпавшие нам на долю случайности топят нас. Мне надо было бы разузнать, кто такой мой спутник и какой проступок он совершил“.

Такие и подобные этому речи говорил узник сам с собой, ища повода завязать со мной разговор, чтобы я любопытствовал, что с ним приключилось? Но я мало обращал внимания на его вопли. Зато кто-то из узников спросил его, — ведь человек, находящийся в несчастье, очень склонен выслушивать чужие горести, так как общением с другим пострадавшим он врачует скорбь своих собственных страданий: „Что же с тобой случилось? — спросил он. — Что тебе послала Судьба? Очевидно, ты не совершил никакого преступления, но подпал влиянию злого божества. Я ссылаюсь на мою участь“.

При этом он рассказал о себе, за что он попал в тюрьму. Но я не обращал внимания ни на кого из них.

III

Когда узник замолк, он в обмен попросил своего собеседника познакомиться с повестью об его злоключениях.

„Расскажи теперь, — сказал он, — и ты о себе“.

„Я шел, вчера, — отвечал мнимый узник, — из города; отправился я по дороге в Смирну. Когда я прошел стадия четыре, ко мне подошел юноша из деревни, заговорил со мною и, пройдя немного вместе, спросил: „Куда ты держишь путь?“ — „В Смирну“, — отвечал я. „Я тоже, — сказал он, — путь у нас общий, пойдем же в добрый час!“

Дальше мы отправились вместе, беседуя, как это обычно в пути.

Когда мы пришли к какой-то гостинице, мы сели завтракать. В это же время подсело к нам четверо каких-то людей; они сделали вид, что и они завтракают, однако, часто поглядывали на нас и кивали друг другу головой. Я стал подозревать, что у этих людей есть какие-то задние мысли против нас, но не мог понять, что значат их кивки. Спутник же мой мгновенно побледнел и начал есть скорее, даже дрожь охватила его. Лишь только четверо заметили это, они вскакивают, схватывают нас и тотчас же связывают ремнями. Один из них дает пощечину спутнику. От этого удара спутник мой, точно он вытерпел тысячу пыток, начинает вдруг говорить, хотя его никто не спрашивал:

„Да, это я убил девушку, за что получил сто золотых от Мелиты, жены Ферсандра. Ведь она наняла меня на это убийство. Но вот вам эти сто золотых. Зачем вам меня губить, а самих себя лишать прибыли?“

Едва я услышал имена Ферсандра и Мелиты, я пробудился, и душа моя оказалась пораженной этими словами, точно ужалена она была оводом, — а до сих пор я не обращал никакого внимания на рассказ заключенного. Обернувшись к нему, я говорю:

„Кто такая эта Мелита?“

„Мелита, — ответил он, — первая из здешних женщин. Она была влюблена в какого-то юношу. Помнится, рассказывали, что он тириец. У этого юноши была возлюбленная, которую продали в дом Мелиты, и юноша нашел ее там. Полная ревностью, Мелита обманом завладела девушкой и, приказав убить ее, предала ее тому, кто теперь, в недобрый час, стал моим спутником. Тот и исполнил это нечестивое дело. А я, несчастный, хотя и не видал убийцу и ни словом, ни делом не был причастен, вместе с ним был связан и уведен, словно соучастник в его преступлении. Но еще хуже то, что, отойдя немного от гостиницы, эти четверо отняли у него сто золотых и отпустили на свободу, меня же привели к стратегу“.

IV

Услышав рассказ о моих злосчастьях, я не застонал и не зарыдал: у меня не было ни голоса, ни слез. Дрожь мгновенно охватила мое тело, сердце перестало биться, и душа чуть не покинула меня. Немного очнувшись от дурмана его слов, я спросил:

„Каким образом этот наемник убил девушку и что он сделал с ее телом?“

Но мнимый узник ничего не отвечал: его дело было сделано, овод, пущенный им, терзал меня. Когда я снова обратился к нему с расспросами, он сказал:

„Что же, ты думаешь, будто я причастен к этому убийству? Я слышал от убийцы только то, что он убил эту девушку, а где и каким образом — этого он мне не сказал“.

Тогда у меня хлынули слезы, и очам передалась скорбь. Ведь и при ударе по телу не сразу выступают синяки, но сперва место удара становится бесцветным, а спустя немного вспухает; и человек, пораженный клыком кабана, сперва ищет свою рану и не может найти, так как она пока еще скрыта в глубине, и порез закрыт в то мгновение, когда наносится удар, а затем, вдруг, выступает белый след, предтеча крови, и через короткое время появляются обильные потоки крови, — так и душа, пронзенная стрелою скорби, пущенною словом, уже поражена, уже в ней есть рана, но быстрота удара не позволяет открыться ране, и слезы еще далеки от очей. Ведь слеза — кровь душевной раны. Когда зуб скорби мало-по-малу вопьется в сердце, тогда разверзается душевная рана, раскрывается в очах дверь слез, и, едва раскроются двери, бьют слезы ключом. Так было и со мной.

Сперва этот рассказ вонзился мне в душу, словно стрела; он сделал меня безмолвным и затворил источник слез; и лишь затем, когда душа немного освоилась со своим горем, они потекли.

V

И вот я предался воплям: „Какое божество краткой радостью обмануло меня? Кто показал мне Левкиппу лишь на новую скорбь? Не насытил я даже очей моих, хотя только в них было мое счастье! Не преисполнился я лицезрением ее! Поистине все мое наслаждение стало лишь сном! Горе мне, Левкиппа, сколько раз ты для меня умирала! Не беспрестанно ли я оплакивая тебя! Всегда по тебе скорблю, а смерти гонятся одна за другой! Но при всех прежних твоих кончинах Судьба забавлялась надо мной, а эта смерть уже не игра Судьбы! Каким образом, моя Левкиппа, ты умерла? В тех мнимых твоих кончинах все же было у меня хотя малое утешение: в первый раз — я имел все твое тело, во второй раз я думал, что лишь головы твоей недостает для погребения. А ныне ты умерла двойной смертью: и душевной и телесной.“

Ты избежала два становища разбойничьих, но вертеп Мелиты был для тебя убийственным! А я, злочестивый безбожник, часто целовал твою убийцу, с ней соплетался в нечистых объятиях и усладу Афродиты дал сперва ей, а не тебе!“

VI

Среди моих рыданий входит Клиний. Я рассказываю ему обо всем и говорю, что я твердо решил умереть. Он стал утешать меня:

„Кто знает, не жива ли Левкиппа и на этот раз? Не казалось ли часто, что ее уже нет в живых, а она еще возвращалась к жизни. Зачем так опрометчиво убивать себя? Это можно сделать и на досуге, когда ты узнаешь наверно о ее смерти“.

„Вздор! Что может быть надежнее этого известия? Думается, я нашел прекраснейший путь к смерти, так что и богам ненавистная Мелита не останется совершенно безнаказанной. Послушай, что я сделаю. Ты знаешь, я подготавливался защищаться против обвинения в прелюбодеянии, если

будет назначен суд. Ну, а теперь я решил поступить как раз наоборот: сознаться в прелюбодеянии и заявить, что мы с Мелитой, влюбленные друг в друга, сообщая погубили Левкиппу. Так-то и Мелита подвергнется каре, и я покину свою проклятую жизнь“.

„Не кошунствуй! — воскликнул Клиний. — Ты осмелишься умереть с таким позором, слыва убийцею и, к тому же, убийцею Левкиппы?“ — „Нет позора, — ответил я, — в том, что причиняет горе врагу“.

Так мы говорили с Клинием. Мнимого узника, сообщившего ложное известие об убийстве, скоро освободил тюремщик, под предлогом, будто его требует начальник для дачи показаний по делу. Клиний и Сатир утешали меня, стараясь переубедить, чтобы я на суде не осуществил своего замысла. Но они ничего не достигли. В тот же день они нашли себе какое-то пристанище и переселились туда, чтобы не оставаться дольше с молочной сестрой Мелиты.

VII

На другой день меня повели в суд. Ферсандр сильно подготовился против меня: одних обвинителей было множество, не менее десяти. Да и Мелита тщательно приготовилась к защите. Когда прекратились речи, попросил и я слово.

„Все эти люди, — сказал я, — несли вздор, и защитники Ферсандра, и защитники Мелиты. А я вам скажу всю правду. У меня уже давно была возлюбленная, византиянка родом, Левкиппа по имени. Считаю ее умершей, — она была похищена разбойниками в Египте, — я встретился с Мелитой; с тех пор мы стали жить с ней, вместе прибыли сюда и, вдруг, находим Левкиппу в рабстве у Сосфена, одного из управляющих поместьями Ферсандра. Каким образом Сосфен залучил в рабство свободорожденную женщину и какие у него были сношения с разбойниками — это я предоставляю рассмотреть вам. И вот, лишь только Мелита узнала, что я нашел свою прежнюю подругу, она испугалась, как бы я снова не склонился к Левкиппе, и замыслила ее убить. Я тоже

согласился на это — к чему мне скрывать правду? — так как Мелита обещала предоставить в мое распоряжение все свое имущество. Я нанял одного человека на это убийство. Платой ему было сто золотых. Наемник исполнил свое дело и скрылся. А мне любовь сейчас же отомстила. Лишь только я узнал об убийстве Левкиппы, я раскаялся, стал рыдать, страстно полюбил ее и сейчас люблю. Поэтому-то я и показываю сам против себя, — я хочу, чтобы вы отправили меня к моей возлюбленной. Невыносима для меня теперь жизнь: я стал убийцей, но люблю ту, кого убил!“

VIII

При этих словах все были охвачены изумлением, в виду такого неожиданного оборота дела, а всего более удивлялась Мелита. Защитники Ферсандра радостно поднимали победный клич, а защитники Мелиты старались разузнать, какой смысл имеют мои слова. Мелита отчасти взволновалась, кое-что она отрицала, кое-что сама подтверждала, очень торопливо, но все же ясно; она согласилась, что знает о Левкиппе и о всем том, что я сказал, впрочем, за исключением убийства. Поэтому даже ее защитники возымели подозрение против нее, так как в большей части она соглашалась со мной; они были в затруднении, каким способом повести дальше защиту.

IX

Тогда, посреди шума и смятения, поднявшегося в помещении суда, выступил Клиний.

„Позвольте, — сказал он, — и мне кое-что сказать, ведь дело идет о жизни человека“.

Когда ему дали слово, он, горько плача, воскликнул:

„Граждане ефесские! Не присуждайте опрометчиво к смерти того, кто сам жаждет умереть, — ведь это естественное утешение для несчастных людей. Клитофонт ложно взял на себя преступные деяния, чтобы испытать несчастных наказание. Я расскажу

вам вкратце, в чем состоит его несчастье. Действительно, как он сказал, у него была возлюбленная—в этом он не солгал; об ее похищении разбойниками, о Сосфене, обо всем том, что предшествовало убийству, он рассказал так, как это было на самом деле. Его возлюбленная внезапно исчезла, уж не знаю как: убита ли она, или похищена и еще жива. Я знаю только вот что: Сосфен влюбился в нее, мучил ее разными пытками, но безуспешно. Сам же он находится в дружественных отношениях с разбойниками. А Клитифонт, считая девушку погибшей, не хочет больше жить и поэтому наклеветал на себя, будто это он ее убил. Ведь он и сам признался, что жаждет смерти из-за тоски по девушке. Рассудите: захочет ли настоящий убийца умереть вслед за своей жертвой? Бывает ли, что жизнь ему невыносима из-за горя? Где видан такой любвеобильный убийца? Кто любит так сильно свою ненависть? Нет, заклинаю вас богами, не верьте Клитифонту, не убивайте человека, нуждающегося более в сострадании, чем в возмездии! Если, как говорит Клитифонт, он сам подстроил убийство, то (пусть укажет, кого он нанял на это дело и где убитая им жертва. Если же нет ни убийцы, ни жертвы, то разве слыхано когда-нибудь такое убийство? Я был влюблен, говорит он, в Мелиту, поэтому-то, будто бы, и убил Левкиппу. Так как же это он обвиняет в убийстве милую ему Мелиту, а из-за Левкиппы, им убитой, жаждет теперь умереть? Вот, значит, как ненавидят любимое и любят ненавистное! Разве не стал бы он, в случае изобличения, скорее отрицать убийство, чтобы спасти свою возлюбленную и не умереть понапрасну из-за своей жертвы? Зачем же он обвинил Мелиту, раз она не совершила ничего подобного? Я разъясню вам и это, только, ради бога, не думайте, будто я стану говорить с целью оклеветать эту женщину. Нет, я просто хочу указать, как все это случилось. Мелита была равнодушна к этому юноше и подумывала о свадьбе, как вдруг ожил Ферсандр, этот вышедший из моря мертвец. А Клитифонт не имел никакой склонности к Мелите и очень был далек от мысли о браке. В это время,

как он и говорил, он нашел у Сосфена в живых свою возлюбленную, которую он считал умершей; тогда он еще более стал чуждаться Мелиты. А та, пока не знала, что рабыня Сосфена—возлюбленная Клитифонта, жалела ее, освободила от оков, в которые ее заковал Сосфен, приняла в свой дом, вообще обошлась с ней радушно, как с несчастной, но свободорожденной женщиной. Лишь только Мелита это узнала, она тотчас же отослала ее в деревню на работу. Затем, как говорят, Левкиппа исчезла. Что я не лгу, подтвердит Мелита и две служанки, с которыми она послала ее в деревню. Во-первых, это обстоятельство породило у Клитифонта подозрение, что Мелита убила Левкиппу из ревности. Во-вторых, какой-то случай с ним в тюрьме подтвердил его подозрения и распалил против Мелиты и даже против самого себя. Один из заключенных, сетуя на свое несчастье, рассказал, что где-то по дороге он, по неведению, связался с человеком, оказавшимся убийцей; тот совершил, за плату, убийство женщины; он назвал и имена: Мелита его на это дело подбила и Левкиппу его руками убила. Действительно ли это так случилось, мне неизвестно; расследовать все это—ваша задача. В вашем распоряжении узник, служанки, Сосфен. Пусть Сосфен ответит, откуда он получил в рабство Левкиппу. Пусть служанки разъяснят, каким образом она исчезла. А Клитифонт пусть предъявит обвинение к наемнику. Пока вы не расследуете всех этих обстоятельств, нечестиво и безбожно лишать жизни несчастного юношу, поверив его безумным речам. Ведь его ввергла в безумие скорбь“.

X

Когда Клиний произносил свою речь, большинству показались убедительными его доводы, но защитники Ферсандра и присутствовавшие здесь его друзья закричали, что надо казнить убийцу, раз уже он сам, по воле божеского провидения, сознался в своем преступлении. Мелита представила своих служанок и просила Ферсандра представить Сосфена. Ведь быть-может это он

убил Левкиппу. Защитники Мелиты в особенности выдвигали это предложение. Но Ферсандр испугался и тайно посылает одного из своих сторонников в деревню к Сосфену с приказанием ему, как можно скорее скрыться, пока не пришли посланные за ним. Гонец, вскочив на коня, изо всех сил мчится к Сосфену, рассказывает ему об опасности, о том, что его поведут на пытку, если захватят здесь. Он застаёт Сосфена в доме Левкиппы, где тот пытался ее обворожить. Услышав громкий и тревожный оклик вестника, Сосфен вышел ему навстречу. Узнав, в чем дело, он преисполнился страха; думая, что палачи уже пришли за ним, он вскочил на коня и, погоняя его, помчался по направлению к Смирне. А вестник возвращается к Ферсандру. Видно, верно сказано, что страх отшибает память. Вот и Сосфен, испугавшись за себя, совершенно позабыл обо всем окружающем: он был настолько поражен, что даже не запер дверей дома Левкиппы. Рабская порода очень труслива при страшных обстоятельствах.

XI

Между тем, перед рассмотрением заявления Мелиты, выступил Ферсандр.

„Достаточно уже,—сказал он,—занимался вздорными рассказами этот человек, кто бы он там ни был. Я удивляюсь вашей бесчувственности: вы поймали убийцу на месте преступления,—ведь собственное признание себя виновным значит еще даже больше,—однако, вы не приказываете палачу его казнить. Вы сидите, слушая этого обманщика, правдоподобно разыгрывающего свою роль, правдоподобно проливающего слезы. Я думаю, что он сам был причастен к убийству и поэтому боится за себя. Итак, я не знаю, к чему послужат дополнительные вопросы, раз дело так ясно определилось. Мне кажется, что они совершили еще одно убийство. Дело в том, что этот Сосфен, которого от меня требуют, уже три дня, как исчез. Есть подозрение, не пал ли он тоже жертвой их замысла: он сообщил мне о совершен-

ном прелюбодеянии. Поэтому мне кажется вероятным, что они убили его и, зная, что я не могу представить этого человека, злонамеренно выдвинули это свое предложение. О, если бы Сосфен мог сюда явиться! О, если бы он был жив! Впрочем, если бы даже он был на-лицо, что от него надо было бы узнать? Купил ли он какую-то девушку? Допустим, что действительно купил. Взяла ли ее Мелита к себе? И в этом она признается моими устами. Сосфен подтвердил бы это, и его бы отпустили. Затем моя речь обращается к Мелите и Клитофонту. Что вы сделали с моей рабыней? Ведь она была моей рабыней, раз ее купил Сосфен. Если бы она осталась в живых, а не была бы ими убита, во всяком случае она продолжала бы оставаться моей рабыней“.

Это слово Ферсандр кинул с очень злым умыслом, чтобы получить Левкиппу себе в рабыни, если впоследствии обнаружится, что она жива. Затем он прибавил:

„Клитофонт признался, что он убил, и попал под суд. Но Мелита отпирается. Поэтому относительно ее можно прибегнуть к допросу служанок. Если окажется, что они получили девушку от Мелиты, а затем не привели ее обратно, то в чем же дело? Вообще, что произошло? И с кем? Разве не ясно, что злоумышленники подговорили кого-нибудь на убийство? А служанки, естественно, и не знали этих людей: так дело было безопаснее без лишних свидетелей. Служанки покинули девушку там, где была устроена тайная засада разбойников. Следовательно, вполне допустимо, что они и не видели совершения убийства. Клитофонт нес вздор о каком-то узнике, который будто бы сообщил об убийстве. Да и что это за узник? Стратегу он ничего не сообщил и только одному Клитофонту рассказал все тайны убийства. Это могло быть только в том случае, если в нем он узнал своего сообщника. Бросьте всю эту пустую болтовню, не превращайте столь важного дела в забаву. Или вы думаете, что Клитофонт обвинил сам себя без божьей на то воли?“

XII

Когда Ферсандр произносил свою речь, клянясь, что он не знает, что случилось с Сосфеном, председатель суда решил, — а был он царского рода и выносил решения по уголовным делам, привлекая, в качестве советчиков старейшин, которые приобрели достаточные сведения в законах, — итак, он решил, по совещании со своими присяжными, приготовить меня к смертной казни, согласно закону, который велит казнить тех, кто сам обвинил себя в убийстве. Дело же Мелиты решено было разобрать в другой раз, когда будут допрошены служанки. Ферсандр пусть письменно поклянется, что он действительно не знает, что случилось с Сосфеном. Меня же решено было пытаться, как уже осужденного, чтобы узнать о соучастии Мелиты в убийстве. Меня заковали, сняли с тела одежду, подвесили на дыбе; палачи принесли плети, другие петлю и развели огонь. Клиний испустил вопль и стал призывать богов, — как вдруг на виду у всех подходит жрец Артемиды, увенчанный лавром. Его приближение служит знаком прибытия торжественного шествия в честь богини. Когда это случается, должно воздерживаться от казни в течение столько дней, пока не закончат жертвоприношения участники этого шествия. Таким-то образом я был тогда освобожден от оков. Предводителем шествия был Сострат, отец Левкиппы: византийцы одержали победу в войне с фракийцами благодаря явному заступничеству Артемиды. Поэтому они решили послать богине жертвоприношение в благодарность за помощь. Кроме того, богиня особо предстала Сострату в ночи. Это видение знаменовало, что дочь свою он обретет в Ефесе, а также и сына своего брата.

XIII

В это же время и Левкиппа, увидев, что двери ее комнаты открыты и что Сосфена нет, стала озираться, не стоит ли он за дверьми. Когда выяснилось, что его нет нигде, ее охватила сме-

лость и обычная надежда. Воспоминание о том, как она нередко, вопреки ожиданию, спасалась, увеличивало ее надежду и в настоящих опасных обстоятельствах. Она решила воспользоваться этой случайностью. Поблизости от деревни находилось святилище Артемиды. Левкиппа побежала к нему и там укрылась. Издревле храм этот был недоступен для свободорожденных женщин и предназначался только для мужчин и девушек. Если женщина вступала в этот храм, наказанием ей была смерть, за исключением рабыни, жалующейся на своего господина. Она может прибегнуть с мольбами к богине, а власти производят суд над ее господином и над ней. Если господин ничем ее не обидел, он получал обратно свою служанку, принеся клятву, что не будет помнить злом ее побег. Если признают, что служанка права, то она остается там в качестве божьей рабыни. Лишь только Сострат пригласил жреца пойти вместе с ними прекратить судопроизводство, в святилище вбежала Левкиппа; еще немного, и она встрети-лась бы там со своим отцом.

XIV

Когда я был освобожден от пытки и суд был закрыт, вокруг меня собралась шумная толпа: одни меня жалели, другие богов призывали, третьи меня расспрашивали. Бывший там Сострат всматривается в меня и вдруг узнает. Ведь, как я сказал в начале своего повествования, он некогда был в Тире на Геракловых празднествах и провел там много времени задолго до нашего побега. Поэтому он сразу узнал мой облик, — благодаря сновидению, он естественно ожидал нас найти. Он подошел ко мне:

„Да это Клитофонт! Но где же Левкиппа?“.

Я, узнав его, упал на землю. Присутствующие рассказали ему, в чем я себя обвинял. Испутив вопль и ударяя себя по голове, Сострат стал топтать меня и чуть не выбил мне глаза. А я не пытался противиться и подставлял свое лицо оскорблениям. Но Клиний, подойдя, воспрепятствовал ему и стал его утешать, говоря:

„Что ты делаешь, зачем ты понапрасну рассвирепел против юноши, который больше тебя любит Левкиппу: вед он шел на смерть, так как думал, что она умерла“.

И многое другое говорил Клиний, утешая Сострата. А тот стонал, взывая к Артемиде:

„Для этого ли, владычица, привела ты меня сюда! Вот к чему твоих слов вещание! А я-то поверил твоим видениям и надеялся у тебя найти свою дочь! Прекрасный же дар ты мне послала. Я нашел убийцу моей дочери у тебя!“

Клиний, услышав о посланном Артемидою сновидении, обрадовался и говорит:

„Мужайся, отец! Артемиды не лжет. Жива твоя Левкиппа, верь моему вещему слову. Разве ты не видишь, что Артемиды спасла и Клитифонта, когда он уже почти висел на дыбе?“

XV

В это время бегущий из всех сил храмовый служитель приближается к жрецу и говорит во всеуслышание:

„Какая-то дева, чужестранка, укрылась в храме Артемиды“.

Я окрылился надеждой, услышав это, поднимаю глаза и начинаю возвращаться к жизни. Клиний воскликнул, обращаясь к Сострату:

„Верным было мое вещее слово, отец!“.

Вместе с тем он спросил вестника: „Красива ли эта девушка?“.

„Другой такой,—ответил тот,—я и не видывал: она уступает лишь одной Артемиде“.

При этих словах я вскакиваю и восклицаю:

„Это ты говоришь о Левкиппе!“—„Ну да,—ответил он,—она сказала, что ее так зовут, что ее родина Византий, а отец—Сострат“.

Клиний всплеснул руками, издавая радостные восклицания. Сострат от радости лишился чувств. А я, несмотря на оковы, подскочил вверх и, словно брошенная стрела, полетел к святилищу. Стража гналась за мною, думая, что я от нее убегаю,

и кричала всем встречным, чтобы меня хватали. Но ноги мои в тот миг были окрыленными. Едва-едва удалось задержать мой неистовый бег. Подбежала стража, пыталась меня бить, но теперь я уже храбро оборонялся. Все же они поволокли меня в темницу.

XVI

В это время подошли Клиний с Состратом. Клиний закричал:

„Куда вы ведете этого человека? Он не совершил того убийства, за которое осужден“.

Сострат со своей стороны подтвердил это и указал, что он отец той, которая, будто бы, убита. Присутствующие, узнав в чем дело, возблагодарили Артемиду, окружили меня и не позволили отвести в темницу. Стража ссылаясь на то, что она не в праве отпустить человека, осужденного на смертную казнь. Наконец, по просьбе Сострата, жрец поручился за меня и за то, что он доставит меня властям, когда это потребуется. Таким-то образом я освободился от оков и как можно поспешнее устремился к святилищу. Сострат мчался за мной по пятам,—не знаю, была ли его радость подобна моей. Но все же бег человека не так быстр: его опережает полет молвы. Так и тогда молва предупредила нас, известив Левкиппу обо всем: о Сострате и обо мне. Завидев нас, Левкиппа выскочила из храма, обняла отца, но взоры ее были направлены на меня. Я остановился, сдерживая, из уважения к Сострату, мой порыв к Левкиппе, и только все смотрел на нее. Так глаза наши приветствовали друг друга радостно.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

I

Лишь только мы собрались присесть и поговорить о всем происшедшем, Ферсандр с большой поспешностью, ведя нескольких свидетелей, подходит к храму и громким голосом говорит жрецу: „Я утверждаю при этих свидетелях, что ты несправедливо освобождаешь от оков и смерти человека, которому по закону надлежит умереть. Кроме того, у тебя находится моя рабыня, развратная и безумствующая при виде мужчинам женщина. Смотри, сохрани ее для меня“.

Я, сильно оскорбленный в душе словами „рабыня“ и „развратная женщина“, не вынес нанесенной ими раны, но в то время, как он еще говорил, воскликнул: „Это ты—трижды раб, женолюбец и развратник; она же свободная девушка и достойна богини!“. Услыша это, Ферсандр сказал: „Ты еще ругаешься, колодник, осужденный!“ и ударил меня сильно по лицу, потом еще раз; из носа потекли ручьи крови,—вся ярость Ферсандра заключалась в этом ударе. Нанося же мне неожиданно третий удар, он неосторожно расшиб себе руку о мои зубы и, поранив пальцы, тотчас же с криком отдернул руку. Так зубы отмести за оскорбление, нанесенное носу, — ведь сами они поранили нанесшие удар пальцы, и что соделала, то и претерпела рука.

II

Ферсандр, нанеся удар, с криком очень неохотно отдернул руку и перестал меня бить, я же, делая вид, что не замечаю его несчастья, и жалуясь на его насилие, воплями наполнил храм:

„Куда еще нам бежать от насильников? Куда прибегнуть? К какой богине обратиться после Артемиды? Нас бьют в самом святилище! Заушают перед самой завесой! Это бывает только в пустынях, где нет ни одного свидетеля. Ты же бесчинствуешь перед лицом самих богов! И для дурных людей храмы являются безопасным убежищем, а меня, никого не обидевшего, просителя Артемиды, бьют у самого алтаря, и богиня, о горе, видит это! Против Артемиды направлены эти удары. И бесчинство не ограничивается ударами, но в лицо получаешь раны, как на войне или в сражении, и помост осквернен кровью человеческой. Разве такие возлияния бывают в честь богини? Здесь варвары, и тавры, и скифская Артемиды! Не только у них так храм обгагрывается! Ионию ты сделал Скифией, и в Ефесе, как в стране тавров, кровь проливается. Возьми же и меч против меня! Хотя к чему железо? Мечом послужила рука! Эта мужеубийственная и обгагренная кровью лесница соделала то, что от меча совершается“.

III

На мои крики собрался бывший в храме народ. Все стали ругать Ферсандра, и сам жрец сказал, как ему не стыдно делать такие вещи так явно, да еще в храме. Я же, осмелев, сказал: „Вот что претерпел, граждане, я, свободный человек, происходящий из небызвестного города, к смерти приговоренный, но Артемидой спасенный. Она показала, что он клеветник! Теперь мне нужно выйти из храма и умыть лицо. Да не доведется мне здесь это сделать, чтобы не осквернилась святая вода кровью, пролитой от удара“. Ферсандра с трудом оттащили и вывели из храма. Уходя, он сказал следующее: „Ты осужден уже и скоро будешь казнен, а мнимую девственность этой гетеры накажет сиринга“.

IV

Когда Ферсандр ушел, я вышел и умыл лицо. Было время обедать, и жрец принял нас очень радушно. Я не мог смотреть

Сострату прямо в глаза, сознавая, как я его разгневал; и Сострат, видя царапины под моими глазами, полученные мною от него, в свою очередь стыдился смотреть на меня; Левкиппа также все больше смотрела в землю, и весь обед был сплошным укором. Когда же обед затянулся и Дионис постепенно рассеял стыд (ведь он отец свободы), жрец первый обратился к Сострату. „Почему, гость, ты не расскажешь о себе? Мне кажется, этот рассказ должен содержать любопытные приключения. Такие рассказы наиболее уместны за чашей“.

Сострат, охотно воспользовавшись случаем, сказал: „Рассказ обо мне прост. Меня зовут Сострат, родом я из Византия, я дядя Клитифонта и отец Левкиппы. Остальное расскажи ты, Клитифонт, дитя мое, без всякого стыда. Если со мной случилось что-либо печальное, то, конечно, в этом виновен не ты, а злое божество. Кроме того, рассказ о прошедших несчастьях скорее утешает, чем огорчает того, кто их больше не испытывает“.

V

Я рассказываю обо всем случившемся после отъезда из Тира: о плавании, о кораблекрушении, об Египте, о разбойниках, об уводе Левкиппы, о мнимом чреве у жертвенника, о хитрости Менелая, о любви стратега, о зелье Хэрея, о разбойничьем похищении, о полученной в бедро ране, и показал рубец. Дойдя же до Мелиты, я как можно скромнее рассказал о своих приключениях, но ни разу не солгал. Я рассказал о любви Мелиты, о своем целомудрии, о том, как долго она умоляла меня, как долго не получала желаемого, сколько мне обещала, сколько горевала; рассказал о корабле, о плавании в Ефес, о том, как мы спали вместе, и как она, клянусь Артемидой, встала, будто проведя ночь с женщиной. Об одном только я умолчал: о моей жалости к Мелите, бывшей после этого.

Потом я рассказал об обеде, как я наговорил на себя, и довел свой рассказ до феории. „Вот что со мной случилось,—сказал я.—Левкиппа же испытала гораздо больше. Она была про-

дана, была рабыней, копала землю, лишилась красоты своей головы. Видишь, она острижена!“ И я рассказал все, как было. А, дойдя до Сосфена и Ферсандра, я изложил ее страдания еще подробнее, чем свои собственные, желая показать ей свою любовь в присутствии ее отца. Я рассказал, как она подвергалась всяким истязаниям и надругательствам, кроме одного, и, чтобы не подвергнуться этому, перенесла все остальные. „И осталась она до сегодня такой, отец, какой ты ее отправил из Византия. И не моя заслуга, но Левкиппы, что я, избрав бегство, не сделал ничего, ради чего бежал. Посреди разбойников она осталась девушкой и победила великого разбойника; я имею в виду Ферсандра, бесстыдного насильника. Мы сознательно бежали, отец,—ведь любовь нас гнала, и это было бегством возлюбленного и возлюбленной. Во время нашего путешествия мы были как брат с сестрой. Если бывает девственность у мужчин—я обладаю ею до сих пор в том, что касается Левкиппы. Крепко Артемиду она любила и ей верно служила. Владычица Афродита, не вмени нам этого оскорбления: не хотели мы сыграть без отца свою свадьбу. Но вот теперь отец здесь: приди и ты. Будь теперь милостива к нам“.

Слушая это, жрец жадно внимал рассказу и дивился, а Сострат даже прослезился, когда я дошел до Левкиппы. Когда я кончил свой рассказ, я прибавил: „О нас вы слышали. Одну вещь, жрец, и я хотел бы узнать от тебя. Что это за сиринга, которой Ферсандр, уходя, в последний раз пригрозил Левкиппе?“ — „Хорошо,—ответил он,—что ты спросил об этом. Нам, знающим, в чем дело, подобает сообщить присутствующим. Это будет тебе наградой за твой рассказ“.

VI

„Видишь ты рошу, что за храмом? Там есть пещера, недоступная для женщин, но чистые девы могут в нее входить. В пещере, недалеко от ее входа, висит сиринга. Если эта вещь встречается и у вас, византийцев, то вы понимаете, о чем

я говорю. Если же кто из вас менее знаком с этой музыкой, я вам расскажу, что такое сиринга, а заодно и весь миф о Пане.

Сиринга состоит из многих трубок, а каждая трубка — тростник. Все эти тростники звучат, как одна флейта. Они расположены в ряд, при чем один прикреплен к другому. Спереди сиринга имеет такой же вид, как и сзади. А так как один тростник выше другого, то нужно знать, что с одного конца первый тростник настолько выше второго, насколько второй выше третьего, и так далее, а с противоположной стороны все тростники равны; средний тростник вполтину меньше самого большого. Причина такого расположения заключается в распределении гармонии. Наиболее высокий тростник издает самый высокий звук, а самый короткий — низкий. Так эти звуки поделили между собой крайние тростники; а переход смягчают те звуки, что располагаются между ними. Они-то и причина того, что звуки распределены равномерно. Как флейта Афины под пальцами песню льет, так и флейта Пана во рту сладостно поет. Но там пальцы управляют звуками, а здесь уста искусника подражают пальцам: тот флейтист, закрыв остальные отверстия, оставляет открытым только одно, через которое проходит дыхание, а здесь он оставляет остальные тростники свободными и прикладывает свои губы к тому, который не должен молчать; он перепрыгивает с одного на другой, куда его зовет гармония звука. Так его уста пляшут по флейтам. А первоначально сиринга была не флейтой и не тростником, а красавицей девушкой. Пан преследовал ее любовным бегом, а ее, в бегстве, скрывает густой лес. Пан, гонясь по пятам за ней, простер к ней руку. Он-то думал, что поймал ее и держит за волосы, а рука его держала листву тростников. Нимфа, говорят, скрылась под землей, а земля произвела вместо нее тростники. В гневе Пан срезал тростник за то, что скрывает он его возлюбленную. Но и после этого Пан не мог ее найти; полагая, что девушка превратилась в тростник, он стал оплакивать свои удары, считая, что зарубил свою возлюбленную. Собрал срезанные тростники, как части ее тела, и соединив их

воедино, он держал их в руках и целовал обрубленные места, как будто раны девушки, и стонал он любовно, приложив к ним уста, и, вместе с поцелуями, дышал в флейты. А дыхание, проникая чрез отверстия в тростниках, производило звуки, и сиринга получила голос. Говорят, что Пан посвятил эту сирингу и заключил ее в пещеру, часто ходил туда и привык играть на ней. После он подарил эту местность Артемиде, под условием, чтобы ни одна женщина туда не входила.

Итак, если девушку обвиняют в том, что она потеряла невинность, ее провожает народ до входа в пещеру, а судит ее сиринга. Девушка входит, облеченная в установленную законом одежду, а кто-нибудь затворяет двери пещеры. Если она девушка, то из пещеры доносится звонкая и божественная песнь (местность ли эта обладает музыкальным дыханием, для сиринги сохраняемым, или может быть сам Пан играет). А немного спустя, двери пещеры отворяются сами собою, и девушка является увенчанной сосновыми ветками. Если же она ложно выдает себя за девушку, сиринга молчит, и вместо музыки из пещеры доносятся стоны, народ же тотчас удаляется и оставляет ее в пещере, а на третий день туда входит дева, жрица этого места, и находит сирингу лежащей на земле, а ее исчезнувшей. Приготовьтесь к этому испытанию вашей судьбы и будьте осторожны. Если она девушка, как я бы того хотел, радуйтесь: сиринга будет к вам милостива; ни за что не рассудит она ложно. Ну, а если нет... ведь сами знаете, чему она могла невольно подвергнуться в стольких напастях...

VII

И тотчас Левкиппа ответила, не дав досказать жрецу: „По-моему, и говорить не нужно об этом. Я готова войти в пещеру сиринги без вызова и затвориться там“. „В добрый час, — сказал жрец, — я рад твоему целомудрию и счастью“. Наступил вечер, и каждый из нас пошел спать, а Клиний не обедал с нами, чтобы не обременить хозяйна. Этот день он

провел там, где и накануне. Я видел, что Сострат несколько смущен рассказом о сиринге; он боялся, что мы, стыдясь его, утаиваем что-то. Я незаметно кивнул Левкиппе, чтобы она рассеяла страх своего отца, зная, как его можно наилучшим образом убедить. Она, казалось мне, подозревала то же самое и быстро поняла меня. Она и до моего кивка раздумывала, как поскромнее взяться уверить его. Отходя ко сну и прощаясь с отцом, она сказала ему тихо: „Не бойся за меня, отец, и верь сказанному. Клянусь Артемидой, никто из нас не солгал“.

На следующий день Сострат и жрец были заняты феорией. Жертвы были приготовлены, прибыл и совет, чтобы принять участие в богослужении. Часто призывали к благоречью в честь богиня. Ферсандр — и он был тут — подошел к председательствующему. „Назначь на завтра, — сказал он ему, — разбирательство нашего дела, ведь осужденный освобожден кем-то вчера, а Сосфена нет нигде“. Итак, суд назначили на следующий день. Мы готовились к нему, как следовало.

VIII

В назначенный день Ферсандр произнес следующую речь.

„Не знаю, какую повести речь и откуда, кого обвинять первым, кого вторым. Много проступков совершено многими, и ни один по важности не уступает другому. Преступления независимы друг от друга, и трудно мне их связать. Мои мысли заняты некоторыми из них, но я боюсь, что речь моя будет бесконечна, так как воспоминание об остальных проступках влечет мой язык к каждому из них. Моя речь, спеша высказать еще не сказанное, уничтожает цельность сказанного. Ведь когда прелюбодеи убивают чужих слуг, убийцы совращают чужих жен, сводники расстраивают нам феории, блудницы оскверняют самые торжественные праздники, когда коварно похищают у господ их рабынь, — что тогда делать? Здесь смешаны беззаконие, прелюбодеяние, нечестие и убийство. Вы его присудили к смерти, — за что, безразлично, — осудили и отправили связанного в тюрьму,

чтобы он там был до казни. А он стоит перед вами не закованный в узы, а облеченный в белую одежду. Узник стоит в рядах свободных. Скоро он еще посмеет заговорить и возвести напраслину на *меня, — нет, на вас и ваше голосование.

Пусть будут прочтены постановления председателей и советников! Слышите, читают ваше постановление и поданное мной на него обвинение. „Клитофонт приговорен к смерти“. Где же палач? Пусть он уведет Клитофонта. Дать ему яду! Он умер для закона и просрочил свой приговор. Ну, что скажешь, почтеннейший и благонравнейший жрец? Какими божескими законами разрешается спасать от наказания людей, осужденных советом и пританами, преданных пыткам и цепям, освобождать их от оков и ставить себя выше проедров и судов? Встань со своего места, председательствующий, уступи ему свою власть и право судить. Ни над чем ты больше не властен. Не дозволяется тебе осуждать негодяев. И сегодня отменяются твои распоряжения. Зачем ты стоишь, жрец, с нами, как один из толпы! Поднимись, воссядь на судейском престоле и впредь суди ты нас. Приказание подавай, как тиран, не позволяй читать себе ни законов, ни судебных решений! Вообще, и человеком себя не считай, на-ряду с Артемидой поклонения ожидай. И ее честь ты присвоил себе. Ей одной можно спасти прибегающих к ней, и то до приговора. Но богиня не освободила ни одного связанного и не избавила от наказания приговоренных к смерти. Алтари спасают неудачников, а не преступников. А ты и связанных освобождаешь, и осужденных отпускаешь. Так ты и Артемиду превзошел?! Какой преступник живет в храме вместо тюрьмы? Убийца и прелюбодей у чистой богини! О ужас, прелюбодей у девственницы! С ним живет также распутная женщина, бежавшая от своего господина. Мы видели, что ты и ее принял, и они разделили твой очаг и трапезу. Может быть, ты и спал с ней, жрец, превратив храм в непотребный дом!

Дом Артемиды стал спальней прелюбодеев и блудниц. Таких вещей и в притонах не происходит. Эта речь одна направлена

против них обоих. Одному я требую наказания за превышение власти, а другого следует опять посадить в тюрьму. Вторая тяжба у меня против Мелиты за ее прелюбодеяние; здесь не нужно говорить: ведь розыск решено произвести путем пытки служанок. Их пытки я требую. Если же покажут под пыткой, что им неизвестно, чтобы этот осужденный долгое время жил с ней и заступал место мужа, а не только любовника в моем доме, я снимаю с нее обвинение. В противном же случае она должна по закону оставить мне свое приданое, а он должен подвергнуться определенному для прелюбодеев наказанию, а именно, смерти. Так что, как он ни умрет (как прелюбодей или как убийца), он, виновный в том и в другом, не будет вполне наказан. Умерши, он должен умереть второй раз. А третья речь моя—против рабыни и этого почтенного человека, разыгрывающего из себя ее отца; ее я приберегу напоследок, когда вы вот этих осудите“.

IX

Сказав это, он умолк. Тогда вышел жрец—а он умел говорить и в особенности подражал Аристофановой комедии—и начал свою речь очень остроумно и как будто в комедии, нападая на распутство Ферсандра. „Перед богиней,—сказал он,—так непристойно ругать честных людей свойственно нечистым уста́м. А язык этого человека полон дерзости не только здесь, но и повсюду. Смолоду он водился со многими хорошими людьми и потратил на это всю свою молодость. Он имел гордый вид, притворялся целомудренным и под предлогом, что жаждет учения, постоянно склонялся пред теми, кто его учил, и всячески подлаживался под них. Так, оставив отеческий дом, он нанял себе закоулок и стал там жить, распутничая и принимая к себе всех годных к тому, чего хотел. Все думали, что, скрываясь, он упражняет свой ум, а на самом деле удалился, чтобы скрыть свою порочность. Далее, и в гимназиях мы видели, как он умашал свое тело, какие употреблял приемы, как боролся с юношами,

сплетаясь с теми, кто похрабрее. Вот как он развивал свое тело. Это он делал в молодости; став же мужем, он обнаружил все, что раньше скрывал. Отцветя, он пренебрег остальными частями своего тела и теперь только язык постоянно точит для разврата и пользуется своим ртом бесстыдно, оскорбляя всех. На лице у него написана наглость. Он не постыдился так грубо злословить в вашем присутствии человека, почтенного вами жрецеским саном. Но если бы я жил где-нибудь в другом месте, а не у вас, я бы должен был рассказать вам о себе и о своей жизни, а так как вы знаете, что моя жизнь далеко не соответствует его злословию, давайте я вам сообщу, в чем я обвинен им. „Ты освободил“, говорит он, „приговоренного к смерти“, и сильно жалуется на это, называя меня тираном и произнося против меня грозные речи. Но не тот тиран, кто спасает оклеветанных, а тот, кто сажает в тюрьму ни в чем не повинных людей без приговора совета и народа. На основании каких законов, ответ мне, ты посадил в тюрьму этого юношу-чужеземца? Кто из проедров осудил его? Какое судилище повелело связать его? Пусть он виновен во всем, как ты говоришь, но пусть он будет сначала предан суду, пусть он будет изобличен, получив слово. Пусть его свяжет закон, властный и над тобой, и над всеми. Без суда никто другого не могущественнее! Так запри же судебные здания, разори народные собрания, выгони вон стратегов! Ведь все то, что ты сказал проедру, я воистину с большей справедливостью обращаю против тебя. Встань перед Ферсандром, проедр! Ты проедр только по имени. Этот исполняет твои обязанности, даже больше твоих. У тебя есть советники, и без них ничего тебе нельзя сделать. И ты не пользуешься своим правом, не воссева на этом престоле, и ты не приказывал, будучи у себя дома, связать человека. А этот молодец—сам для себя все: народ, совет, проедр, стратег. Дома он судит, наказывает и связывать приказывает, и вечер—час суда. Хорош ночной судья! И теперь он все время вопит: „Ты освободил осужденного, преданного на смерть“. На какую смерть? Какого осужденного? Назови мне

причину его осуждения! „За убийство осужден“, говорит Ферсандр. Да разве он убил? Скажи мне, кто та, кого он убил? Убитую, по твоим словам, ты видишь живую, и ты не смеешь обвинять его в убийстве. Ведь это не призрак девушки! Аид не выслал убитой против тебя! Итак, в двух убийствах обвинен ты! Ее ты убил своим рассказом, а его ты хотел убить на деле, да и ту также. Ведь про твои похождения в деревне мы слышали. Но великая богиня Артемида спасла их обоих: ее она из Сосфеновых рук исторгла, а его из твоих. И Сосфена скрыл ты, чтобы не быть уличенным. Не стыдно тебе, что, обвиняя обоих чужеземцев, ты оказываешься клеветником? Таков мой ответ на его поношения, а слово за чужестранцев я им самим предоставляю“.

X

Когда предстояло говорить за меня и за Мелиту небезызвестному оратору, члену совета, его предупредил другой оратор, по имени Сопатр, нанятый Ферсандром защитник, и сказал: „Сначала будет моя речь против этой влюбленной четы, любезный Никострат, — так звали моего оратора, — а затем твоя. Ведь Ферсандрова речь была направлена только против жреца, лишь немного затронула она вопрос об узнике. Когда же я докажу, что он повинен двум смертям, тогда твой черед оправдывать его проступки“.

После этих раздутых слов он потер себе лицо и продолжал: „Мы слышали комедию жреца, которую он невоздержно и бесстыдно ломал против Ферсандра. Началом его речи было порицание Ферсандра за то, что тот про него рассказал. Но Ферсандр ничего не налгал на него: ведь и узника он освободил, и развратницу к себе в дом пустил, и прелюбодее простил. А его бесстыдная клевета, осмеивающая жизнь Ферсандра, сплошная ложь. Жрецу подобало бы между прочим иметь чистый от дерзости язык — я обращаю против него его собственное оружие. Когда же после своей комедии он начал так явно и без обиняков трагические речи, жалуясь, что мы связали прелюбодее,

я сильно дивился, что могло побудить его к такому усердию... Но можно догадаться об истинной причине этого. Он видел лица развратных прелюбодеев и гетеры. Она красива и молода, также и этот мальчик красив и еще не огрубел лицом, но годен для утех жреца. Что прельстило тебя? Вы ведь вместе и спали, и пили, и никто не был зрителем вашей ночи. Боюсь, что вы обратили Артемидино святилище в Афродитино, и нам придется расследовать, достоин ли ты иметь жреческий сан. Про жизнь Ферсандра знают все: с самого раннего возраста она была скромна и умеренна; знают так же, как, возмужав, он вступил в законный брак, обманувшись, правда, в выборе жены, — не нашел ведь он ее той, на какую надеялся, — но положившись на ее происхождение и приданое. Надо думать, что ранее она и с другими грешила, но не замечал этого ее честный муж. Но последнее происшествие обнаружило весь ее позор и преисполнено бесстыдства. Когда муж ее отправился в дальнейшее путешествие, она сочла это время благоприятным для прелюбодеев, нашла себе блудливого юношу (и еще больше ее преступление, что такого нашла себе возлюбленного, который с женщинами подражает мужчинам, а с мужчинами делается женщиной), и не удовольствовалась тем, что безбоязненно явно жила с ним на чужбине, нет, сюда она привезла его, при чем спала с ним в продолжение столь длинного путешествия и распутничала на корабле в присутствии всех! О прелюбодее, между землей и морем разделенное! О прелюбодее, от Египта до Ионии распространенное! Бывают случаи прелюбодеев, но только на один день; если же любовница грешит вторично, то скрывает свое дело и прячется ото всех. Эта же не только трубой, но и через вестника раструбила о своем прелюбодеевании! Весь Ефес знает ее любовника! И не стыдно ей было привести с собой этого податливого красавца, как товар, привезти прелюбодее! „Я думала“, говорит она, „что муж мой умер“. Да, если он умер, ты свободна от обвинения: брак, не имеющий мужа, не знает прелюбодеев и не оскверняется им. Если же брак, благодаря жизни мужа, не расторгнут,

то он подвергся разбойничьему нападению, раз жену обольстил другой. Ведь подобно тому, как в случае смерти мужа не было бы прелюбодея, при живом муже есть прелюбодей“.

XI

Не успел еще кончить Сопатр, как его прервал Ферсандр. „Довольно слов,—сказал он.—Я требую двух испытаний: вот этой Мелите и той, что кажется дочерью феора, а на самом деле моя раба. И прочел свое требование: „Ферсандр вызывает Мелиту и Левкиппу; так, слышал я, зовется эта распутница. Если Мелита не приобщалась Афродите с этим чужеземцем во время моего отсутствия, пусть она вступит в священную воду Стикса и, произнеся клятву, освободится от обвинения. А другая же, если она женщина, пусть останется рабыней своего господина. Ведь из женщин только рабыни могут входить в храм Артемиды. Если же она утверждает, что она девушка, заключить ее в пещеру сиринги“. Мы тотчас же приняли вызов, ведь мы знали, что Левкиппа девушка. А Мелита, ободрась тем, что за время отсутствия Ферсандра между нами не было ничего, кроме разговоров, сказала: „И я принимаю этот вызов, и еще сама прибавлю к нему. Самое главное, это то, что за все то время, о котором ты говоришь, я не имела дела ни с чужестранцами, ни с согражданами. Как поступить с тобой, если ты окажешься клеветником?“ — „Как будет угодно судьям“, ответил Ферсандр. После этого заседание было закрыто, и было решено произвести испытание на следующий день.

XII

С водой Стикса дело обстояло так. Была красивая девушка по имени Родопида, страстно любившая травлю и охоту. Быстрые ноги, меткие руки, пояс и повязка, подвязанный до колен хитон, волосы острижены по-мужски. Видит ее Артемида, похвалила ее, подозвала, сделала соучастницей в охоте и обычно вместе с ней охотилась. И поклялась Родопида устоять, избегать с мужчинами

общения и не потерпеть от Афродиты оскорбления. Так поклялась Родопида, и услышала ее Афродита. Гневается она и хочет наказать девушку за ее к ней презрение. Был некий ефесский юноша, прекрасный среди отроков, как Родопида среди девушек. Звали его Евтинином. И охотником он был, как Родопида, и равным образом не хотел знать Афродиты. Богиня приходит к ним обоим и направляет их охоту в одно место. До тех пор они были разлучены; Артемида в то время отсутствовала. Афродита выставила своего сына-стрелка и сказала ему: „Дитя мое, ты видишь эту чету, безлюбивую, враждебную нам и нашим таинствам. Девушка же эта даже произнесла дерзкую клятву против меня. Видишь, они вместе гонятся за ланью. Начни же и ты свою охоту на эту дерзновенную деву. Твоя стрела во всяком случае удачнее разит“. Оба натягивают луки: она на лань, а Эрот на девушку; оба попадают в цель, и охотница стала пойманной после охоты. Илани стрела попала в бок, а деве—в сердце; а стрела была—любовь к Евтиннику. А вторую стрелу он пустил в него. И увидели друг друга Евтиник и Родопида, и в первый раз устремили свои очи друг на друга; ни он, ни она не хотели отвести взора. Мало-по-малу раны разгораются в обоих, и Эрот влечет их в ту пещеру, где теперь находится источник; и там нарушают они клятву. Артемида видит Афродиту смеющейся, понимает, в чем дело, и распускает девушку в воде, где она распустила свой девственный пояс. Поэтому, если женщину обвиняют в любодеянии, она входит в источник и омывается там. Воды немного, только до середины голеней. А суд таков: написав свою клятву на записке, женщина обвязывает ее тесьмой и вешает на шею; если ее клятва не ложна, вода остается на своем месте, если же она лжет, вода гневается, поднимается до шеи и покрывает записку.

XIII

Разговаривая, мы, так как время клонилось к вечеру, пошли спать, каждый отдельно. На следующий день собрался весь народ, Ферсандр предводительствовал с торжествующим лицом и часто

со смехом смотрел на нас. Левкиппа была облечена в священную одежду. Длинный полотняный хитон, на хитоне пояс, пурпурная повязка на голове, босые ноги. Она скромно вошла в пещеру. А я, видя ее, стоял с трепетом и так говорил сам с собой: „Я уверен, что Левкиппа девственна, но я боюсь Пана, возлюбленная моя. Он бог-деволюбец, и я боюсь, что ты станешь второй сирингой. Но она избегла его потому, что он ее преследовал на широкой равнине, а ты заперта, как осажденная, так что, если он и погонится, ты не сможешь бежать. Но, владыка Пан, будь справедлив и не преступай закона этого места; мы ведь соблюдали его. Да выйдет к нам Левкиппа обратно девушкой. Такой договор заключил ты с Артемидой. Не обмани же девственницы“.

XIV

Пока я так говорил сам с собой, послышалась чудная песнь, и говорили, что никогда она не звучала так звонко, и тотчас мы увидели, что двери открылись. Когда же оттуда выбежала Левкиппа, весь народ испустил радостный крик и стал поносить Ферсандра. А что было со мною, я не могу рассказать! Одержав одну прекраснейшую победу, мы ушли оттуда и пошли на второй суд: к Стиксу. И народ туда пошел, чтобы посмотреть и на это зрелище. И там все совершилось. На Мелиту возложили дощечку. Источник был мелок и прозрачен. Мелита вступила в него с бодрым лицом. Вода осталась на своем месте, как была, нисколько не поднявшись выше обычного уровня. Когда же прошло время, которое ей было определено провести там, проедр взял ее за правую руку и вывел из воды. Так Ферсандр был побежден в двух состязаниях. Ему предстояло поражение и в третьем, но он незаметно убежал домой, боясь, что народ побьет его камнями. Дело в том, что Сосфена тащили уже четверо юношей; двое из них были родственниками Мелиты, а двое слугами. Мелита отправила их на его розыски. Ферсандр, зная заранее, что тот под пыткой выдаст все, предупредил свое

осуждение побегом и, когда наступила ночь, скрылся из города. А Сосфена власти после бегства Ферсандра велели бросить в тюрьму. Тогда мы ушли, победой нашей избавленные и всеми прославленные.

XV

На следующий день те, кому это было поручено, повели Сосфена к властям. Он же, видя, что его ведут на пытку, рассказывал ясно обо всем; на что решился Ферсандр и в чем он ему помогал. Не умолчал он и о том, что они наедине говорили о Левкиппе перед ее дверьми. И его опять бросили в тюрьму, чтобы после наказать, а Ферсандра заочно приговорили к изгнанию. Нас же опять принял жрец с обычным своим радушием. За обедом мы говорили о том же, о чем накануне, и о тех приключениях, о которых мы еще не упомянули. Левкиппа, оказавшись несомненной девственницей, не стыдилась более своего отца и с удовольствием рассказывала о случившемся. Когда она дошла до Фароса и до разбойников, я сказал ей: „Не расскажешь ли ты нам о фаросских разбойниках и о загадочно отрубленной там голове, чтобы и отец твой знал об этом? Одного этого не достает, чтобы были выслушаны все приключения“.

XVI

„Разбойники,—начала она,—обманули одну несчастную женщину из тех, что продают утеху Афродиты, и держали ее на корабле, как будто для сожителства с одним из судовладельцев. Не знала она истинной причины своего пребывания там и спокойно распивала вино с одним из пиратов; а на словах разбойник был любовником. И вот, когда они, как ты видел, похитили меня, они посадили меня на корабль и бежали, окрылив его веслами. Видя же, что отправленный в погоню корабль настигает их, они, сняв украшения и одежду несчастной женщины, возлагают их на меня, а мое платье на нее. И, поставив ее на корме,

откуда вы могли бы увидеть, они отрубают ей голову; туловище они, как ты видел, бросили в море, а упавшую голову пока оставили на корабле. Немного погодя, не видя больше погони за собой, они и ее выбросили. Так и не знаю, для этого ли они заготовили ее, или с целью продать в рабство, как они впоследствии поступили со мной. Преследуемые же, чтобы обмануть погоню, они убивают ее вместо меня, рассчитывая выручить больше, продав меня, чем ее. Из-за этого происшествия и Хэрей, как я видела, был наказан достойным образом: ведь он посоветовал убить ее и выбросить вместо меня. Остальная шайка разбойников не соглашалась предоставить меня ему одному: они говорили, что ему уже принесена в жертву другая женщина, которая, будучи продана, принесла бы им наживу. Итак, следует продать меня вместо погибшей и этим сделать общей, вместо того, чтобы предоставить ему одному. Когда же Хэрей стал возражать, оправдываясь и ссылаясь на договор, что он меня похищает не для продажи им, но для себя, как возлюбленную, и сказал какую-то дерзость, то один из разбойников, стоявший сзади него, отрубил ему голову, и хорошо поступил. Он, заплатив недешево за похищение, и сам был брошен в море, а разбойники после двухдневного плавания привезли меня, сама не знаю куда, и продали знакомому купцу, а тот Сосфену“.

XVII

После этого говорил Сострат: „Раз вы, дети мои, перечислили свои приключения, послушайте, что случилось дома с Каллигоной, твоей сестрой, Клитонфонт, чтобы мне не остаться без всякого участия в рассказах“. Услышав имя своей сестры я насторожил внимание и сказал: „Расскажи, расскажи, отец; только смотри, говори о живой“. Начинает он свой рассказ с того, о чем я уже раньше говорил, а именно, о Каллисфене, о предсказании, феории, о челноке и похищении. Потом он прибавил: „Хотя Каллисфен во время плавания и узнал, что она не моя дочь, что он ошибся в своих расчетах, он все же

полюбил Каллигону, и очень даже. „Владычица моя“, сказал он, припав к ее коленям, „не считай меня разбойником и злодеем. Я благородного происхождения, родом византиец, не уступаю никому. Любовь заставила меня разыграть разбойника и сплести против тебя такую уловку. Считай меня с сего дня твоим рабом. И приданое тебе я даю: прежде всего самого себя, а потом такое, что и отец тебе бы столько не дал. И соблюду я тебя девственницей, пока это тебе угодно“. Сказав это, и еще больше того, он добился большей благосклонности девушки. Он был красив собой, словоохотлив и очень убедительно говорил. Приехав в Византий, он, доказав, что может дать очень много приданого, и приготовив драгоценные уборы: одежду, золото и все, что служит украшением богатых женщин, тщательно заботился о ней, сохранил ее чистой, как обещал, так что сильно пленил девушку. И во всем другом он показывал себя очень скромным, порядочным и умеренным,—внезапно произошла удивительная перемена в этом молодом человеке! Он вставал перед старшими и старался первым поздороваться со встречными. Его дотоле безрассудная роскошь превратилась из прежнего мотовства в благоразумие: он был великодушен к тем, кто из бедности нуждался в подаении, так что все дивились внезапной перемене его поведения,—плохое превратилось в очень хорошее. Меня же он пленил больше всех; я его сильно полюбил и считал его прежнее мотовство признаком удивительно широкой природы, а не распутством. Я вспомнил Фемистокла: и он, казавшись крайне невоздержным в ранней юности, впоследствии превзошел всех афинян мудростью и храбростью. Я раскаивался, что отказал ему, когда он заговорил со мной о браке с Левкиппой. Он был очень внимателен ко мне, называл меня отцом, сопровождал меня на площадь. Не пренебрегал Каллисфен и воинскими упражнениями и усиленно занимался верховой ездой и отличался в ней. Он ее любил и занимался ею и во время своего мотовства, но только как роскошной забавой. Все же он таил в себе храбрость и опытность; усовершенствовался он также и в умении

твердо переносить разные воинские тяготы. И много денег он пожертвовал в пользу государства. Вместе со мной его выбрали в стратеги; с тех пор он полюбил меня еще больше и во всем подчинялся мне.

XVIII

Когда же, одержав победу, благодаря явлению богов, вернувшись в Византий, мы были выбраны феорами: я — сюда благодарить Артемиду, а он — в Тир — Геракла, Каллисфен взял меня за руку и рассказал сначала о своем поступке с Каллигоной. „Моим поступком, отец, — сказал он, — руководила сперва свойственная молодости любовь к насилию, но после — добровольное решение. До сих пор я оберегал ее девственность, и притом среди войн, когда никто не откладывает удовлетворения своей страсти. Теперь я решил отвести ее в Тир к отцу и получить ее себе в законные жены. Если он согласится выдать ее за меня, я приму ее в добрый час; если же он будет упрям и неподатлив, то получит ее обратно девственницей. Ведь я, прибавив очень значительное приданое, с радостью вступил бы с нею в брак“. Прочту я тебе и отзыв о Каллисфене, написанный мною еще до отплытия, где я, желая, чтобы Каллигона вышла за него, написал о его происхождении, заслугах и воинских подвигах. Таковы наши условия. Я же, если обжалование приговора Ферсандром будет решено в нашу пользу, решил сначала отплыть в Византий, а оттуда в Тир“.

XIX

После этого разговора мы легли спать, расположившись, как всегда. А на следующий день пришел Клиний и сказал, что Ферсандр бежал ночью. Ведь обжаловал он свой приговор не потому, что надеялся на успех, но желая под этим предлогом приостановить разоблачение своих поступков. Итак, выждав законные три дня, мы пошли к председателю и, прочитав законы,

на основании которых дела с Ферсандром уже не могло более быть, сели на корабль и с попутным ветром прибыли в Византий.

Сыграв там долгожданную свадьбу, мы поехали в Тир. Прибыв туда через два дня после Каллисфена, мы застали отца готовящимся на следующий день, после принесения жертвы, отпраздновать свадьбу моей сестры. Мы пришли на свадьбу, чтобы принять участие в жертвоприношении и помолиться богам, чтобы наш и их брак был благополучным. И мы решили, перемоловав в Тире, вернуться в Византий.

К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА И ТЕКСТА РОМАНА

ПРИМЕЧАНИЯ

К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА И ТЕКСТА РОМАНА

1. ПЕРЕВОД

Напечатана впервые повесть Ахилла Татия была в Лионе в 1544 г., в латинском переводе Лючио Аннибале делла Кроче — в латинской транскрипции фамилии — Крочея (Cruceius), получившего от Октавио Феррари рукопись, содержащую лишь последние четыре части подлинника, без имени автора ¹⁾. Через два года появился итальянский перевод Людовика Дольче, исполненный, как убедительно доказывает Якобс, не с подлинника, а с латинского перевода Крочея. Тот же перевод Крочея положен в основу первого перевода Ахилла Татия на французский язык, вышедшего в Лионе в 1556 г., автором которого был Жак де Рокмор (или Рошмор). Во всех этих переводах даны были лишь последние четыре книги повести. Однако, уже в 1550 году появился итальянский перевод всей повести, исполненный Анжело Кокки, который получил полную греческую рукопись от Георгия Комикоринфия. Перевод этот был шесть раз переиздан в течение ближайших шестидесяти лет ²⁾. В 1554 году выпустил свой полный латинский перевод сам Крочея, пользуясь рукописью, найденною в Риме Филиппом Архинтом. Этот перевод был переиздан в 1587 году в Бергамо, при чем к новому изданию Августином Гамбарелли был приложен предметный указатель и пересказ повести по отдельным частям. Впоследствии перевод Крочея неоднократно издавался вместе с греческим текстом.

Больше всего повесть Ахилла Татия переводилась на французский язык ³⁾. Первый полный перевод появился в 1568 г. ⁴⁾ в Париже.

¹⁾ Narrationis amatoriae fragmentum e graeco in latinum conversum, Annibale Cruceio interprete, Lugduni apud Seb. Gryphum 1544.

²⁾ В 1560, 1568, 1578, 1600 и 1617 гг.

³⁾ В последний раз в собрании: Romans grecs, traduits par Ch. Zevort, Paris 1856.

⁴⁾ Затем в 1635 г., в 1733 Castera; новое издание 1797 г. Этот же перевод был переиздан кем-то в Париже в 1803 г. без имени автора и переводчика, с измененными именами главных героев, под названием: Le nouvel Antenor ou Voyages et aventures de Thrasybule en Grèce; и в 1734 г. в Париже (новое издание в Гааге в 1735 г.).

Из немецких переводов лучшим считается тот, который был сделан известным исследователем Платона Фр. Астом в сотрудничестве с Г. Гюльденапфелем (Лейпциг, 1802 г.) ¹⁾.

Существуют переводы на английский ²⁾ и испанский языки ³⁾.

2. ИЗДАНИЯ ТЕКСТА

Настоящий перевод исполнен по изданию текста: Hercher, Erotici scriptores graeci res. Hercher, Лейпциг, 1858, т. I. Прежние издания текста: Фр. Якобса (Лейпциг, 1821), Гириш (Париж, 1856, переиздано в 1885). Первое издание текста появилось в 1601 (повторено в 1606). Из последующих изданий следует отметить: издание Кл. Салмасия (Лейден, 1640), Бодена (Лейпциг, 1776), Митчерлиха (1792).

Папирусные отрывки романа Ахилла Татия, недавно найденные в Египте, напечатаны в Oxyrhynch. Pap. 1914 (X), 1250.

3. ИСПРАВЛЕНИЯ В ТЕКСТЕ

При настоящем переводе в текст Hercher'a введены некоторые новые чтения, исправляющие испорченные места рукописей и предложенные в статьях:

- 1) Richards, Notes on the Erotici Graeci, Class. Rev. XX (1906), 20.

(= K. Münscher, Bursians Jahresberichte 149, 1910).

- 2) L. Castiglioni, Studi intorno ai romanzieri greci: Il Achille Tazio in Byzantinisch-Neugriech Jahrbücher, V (1923) 18, а именно

I, 15,5 <ἰον> καὶ παρχίσιος καὶ ῥόδον (Cast.).

I, 10,4 εἰν δὲ μαλθακότερον ἢ δὴ βλέπης (Rich.).

VIII, 18. 20 πρὸ τοῦ πλο Cast.).

4. СВИДЕТЕЛЬСТВА АВТОРОВ О РОМАНЕ АХИЛЛА ТАТИЯ

- 1) Статья из Энциклопедического Словаря Свиды, византийского писателя X в.

Ахилл Статий, александриец, написавший „Левкиппу и Клитопонта“ (где встречаются и другие любовные рассказы) в VIII книгах, напоследок принял христианство и стал епископом. Писал о сфере, об этимологии; автор

¹⁾ Перед этим немецкие переводы выходили во Франкфурте в 1670 г. и в Лемго в 1772.

²⁾ Лондон, 1577 г., Оксфорд, 1638 г., Лондон, 1720 г.

³⁾ Впервые в 1628 г. (D. J. Pellicer); этот перевод никогда не был издан, как и следующий перевод (Fr. de Quevedo). Есть еще перевод Диэго де Агреды и Варгаса, исполненный не с оригинала, а с итальянского перевода Кокки.

смешанной истории, повествующей о многих великих и замечательных мужах. Его роман во всем похож на любовный.

2) Эпиграмма патриарха *Фотия* (IX в.) или Льва Философа.

В любви несчастной целомудренную жизнь
Показывает Клитонфонт нам рассказ.

А скромности вершина—жизнь Левкиппина.

Всех изумляет: как побои лютые

5 Она, волос лишение, унижения

И, молвить страшно, трижды смерть перенесла.

А если, друг, захочешь скромным быть и ты,

Нескромных эпизодов не касаясь здесь,

Усвоить надо главную романа мысль,

10 Что брак венец есть целомудренной любви.

3) Письмо *Люцио Аннибале делла Кроче*, переводчика повести на латинский язык, Палавичини, епископу Алерийскому.

Люцио Аннибале делла Кроче шлет привет Петру Франческо Палавичини, епископу Алерийскому.

Восемь лет тому назад я издал переведенную мною с греческого языка на латинский вторую часть Ахилла Статия без имени автора (ведь в таком виде рукопись была в моих руках). Немного спустя мне была прислана Филиппом Архинтом, епископом салуцким, упоминаемым мною с почтением, из Рима первая часть с именем автора. Эта присылка, вначале поразившая меня, возложила на меня новый труд. Дело в том, что многие, узнав об этом, стали извещать меня и требовать, чтобы те, кому я дал возможность читать половину латинского перевода, могли читать его целиком. Но хотя все, с кем мне приходилось говорить о том первом издании, уверяли меня, что и сами они его очень одобряют, и от других слышали похвальные отзывы, они все-таки не могли убедить меня согласиться со всем этим. Понимая вдобавок, что во многом я слишком недостаточно удовлетворяю своим трудом, я думал совершенно оставить его. И я охотно отказался бы от него, если бы не счел лучшим избежать нареканий некоторых людей, которые может быть осудили бы меня или за гордость, что я отказываюсь удовлетворить справедливую просьбу, или за неосторожность, что я, не удержавшись от издания искаленной рукописи, отклоняю от себя издание невредимой. Итак, я наконец перевел все и предоставляю это для всеобщего чтения. Но я настолько далек от того, чтобы считать свой перевод свободным от всех недостатков, что хотел бы сам признать за собой тот, в котором, как я хорошо знаю, меня упрекнул первым делом. Ведь так как у переводчиков с греческого языка на латинский бывает, по-моему, два порока (одни, желая прослыть точными, стараются передать слово в слово, что сушая нелепость, а другие, считая возможным избежать этой нелепости и добиться блестящего изложения, пользуются слишком большими вольностями, что по большей части отвлекает их от мыслей автора), и мне предстояло согрешить одним из них; так как я, по крайней мере, не приписываю себе середины, свободной от обвинений, то я предпочел согрешить этим последним, в особенности раз такого рода вольность

совершенно безопасна. Ведь здесь речь идет не о положениях каких-нибудь философов, где мельчайший промах обыкновенно порождает труднейшие вопросы. Я уже не буду говорить о том, что сильно испорченный греческий текст заставлял меня иногда угадывать и кое-что исправлять своим умом, чтобы не обезобразить всю книгу звездочками. В особенности так поступил я в описании сиринги. Выкинув его в первом издании, как искаженное и изувеченное, я перевел теперь, или скорее передал своими словами.

Хотя, когда я решил издать рукопись целиком, я решил заодно не посвящать ее никому; однако, представившийся мне немного спустя случай заставил меня изменить мое намерение. Так как ты прошлым летом, побужденный легким ветерком молвы, полюбил меня, еще не зная в лицо, полюбил настолько, что захотел выразить свою любовь не только заочно через знатнейших мужей, но и лицом к лицу, как мог я не направить всех порывов моей души, чтобы так сказать „отлюбить“ тебя. Конечно, с тех пор, как ты так великолепно и радушно принял меня у себя в Тичино и приказал открыть предо мной все двери, я не мог не чувствовать себя вечным должником перед тобой всеми моими занятиями, прилежанием, трудами, не говоря уже о любви и внимании. Так как благородным людям свойственно желать быть обязанными очень многим тому, кому они многим обязаны, я прошу у тебя, как благодеяния, чтобы ты не оскорбился, если этот мой труд появится с твоим именем. Я хорошо знаю, что поступаю неразумно и несвоевременно, приняв намерение посвятить серьезному мужу легкомысленную безделку, но так как я всегда стремился к тому, чтобы стяжать себе доброе имя, и свободен сейчас от всех других дел, то захотел поднести тебе этот маленький подарок в залог того, что я тебе должен. Ты же, по своей безмерной любезности, прими благосклонно этот маленький дар и постарайся, чтобы я везде занимал у тебя то место, которое ты мне раз предоставил. Будь здоров. Милан, 21 декабря 1552 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

- На стр. 36. „Зло подарю я им“ стихи Гесиода.
Гл. VIII. (Труды и дни, ст. 57—58; ed. Rzach.).
- На стр. 37. Эрифила — сестра аргосского царя Адраста, жена провидца Амфиарая. Когда муж ее, предвидевший поражение и свою гибель, не захотел участвовать в походе Семерых против Фив, Эрифила, подкупленная Полиником при помощи золотого ожерелья, уговорила его все же сделать это. Амфиарай во время бегства был поглощен разверзшейся землей, а Эрифила была убита своим сыном Алкмеоном, которому Амфиарай поручил отомстить за себя.
- Там же. О Филомеле и Прокне, см. ниже, ч. V, гл. 3 и сл.
- Там же. Сфенебэя (по версии трагиков, по Гомеру — Антея) — жена царя Прэты. Влюбившись в Беллерофонта и будучи отвергнута им, она оклеветала юношу перед своим мужем. Посланный Прэтом к царю Иобату, Беллерофонт получил от того поручение убить Химеру и, совершив этот подвиг, бросил затем Сфенебэю в море.
- Там же. Аэропа — жена Атрея, мать Агамемнона. Когда шел спор о царстве между Атреем и его братом Фиестом, она похитила из стада своего мужа златорунного ягненка, обладание которым давало право на престол.
- Там же. Хрисеида — дочь жреца Хриса, захваченная в плен Ахиллом и доставшаяся Агамемнону. За отказ выдать ее отцу Аполлон наслал на ахейский лагерь чуму, принудившую Агамемнона согласиться на освобождение девушки.
- Там же. Брисеида — пленница Ахилла под Троей, отнятая Агамемноном в отместку за выдачу Хрисеиды и послужившая причиной гнева Ахилла.
- Там же. Кандавл — лидийский царь, последний из дома Гераклидов. По рассказу Геродота (I, 8 и сл.) Кандавл тайно показал свою жену обнаженной своему телохранителю Гигу, она же, узнав об этом, отомстила мужу тем, что отдалась Гигу и уговорила его умертвить своего оскорбителя.
- Там же. „Зевсу, метателю молний,“
(Илиада II, 478, перев. Гнедича.)
- На стр. 45. Сатир — раб Клитофонта, Клио — рабыня Левкиппы, как видно из дальнейшего. Возможен пропуск, так как введение новых действующих лиц без всякой характеристики необычно для Ахилла Татия.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

- На стр. 48. Она спела сначала из Гомера про битву вепря со львом. — Гл. I. Илиада XVI, 823 и сл.
- На стр. 49. Икарий, в награду за оказанное Дионису гостеприимство, получил от бога виноградную лозу. Он был убит пастухами, которые сочили своих напившихся вина товарищей отравленными, а Икария их убийцей.
- На стр. 58. Цвет у быка такой, какой Гомер восхваляет... Илиада X, 437: Гл. XV. Снега белее они.
- На стр. 69. ... будто бы из-за Патрокла... ср. Илиада XIX, 301 и сл: Гл. XXXIV. стонали и прочие жены с виду, казалось, о мертвом, но в сердце — о собственном горе.
- На стр. 70. В подлиннике, вместо „о мертвом“, сказано „о Патрокле“.
- Гл. XXXVI. Он-то богами и взят... Илиада XX, 234 и сл.
- На стр. 70. Из-за женщины он (Зевс) плясал в виде сатира. Имеется Гл. XXXVII. в виду Антиопа, родившая Зевсу Амфиона и Зефа.
- На стр. 71. ... три целых солнечных дня.
- Там же. В то время как Зевс находился у Алкмены, будущей матери Геракла, солнце не восходило в течение трех дней.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

- На стр. 95. Гесиодова ворона — по Гесиоду (fr. 171, ed. Rzach), ворона Гл. IV. живет девять человеческих поколений.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

- На стр. 128. После слов „Думается мне“ испорченное место; перевод дан по смыслу.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

- На стр. 142. Кодр — последний афинский царь.
- Там же. Арион, по Геродоту (I, 23 сл.), кифаред, уроженец Лесбоса, живший в VII—VI в.в. Как-то он возвращался на корабле из Италии в Коринф, где он поселился при дворе тирана Перияндра. Моряки, прельстившись богатствами Ариона, задумали сбросить его в море. Арион выпросил у них позволение спеть в последний раз, с тем чтобы потом самому броситься с корабля. Окончив петь, он прыгнул в море и был подхвачен дельфином, который вынес его на сушу.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

- На стр. 166. Гл. V. Феория — священное посольство. См. стр. 160.
- На стр. 171. Проedr — должностное лицо, председательствующее в совете Гл. VIII. или народном собрании.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие. Ахилл Татий и его роман. <i>А. Болдырева</i>	7
Повесть о Левкиппе и Клитонте	27
Часть первая	29
" вторая	48
" третья	73
" четвертая	93
" пятая	109
" шестая	134
" седьмая	149
" восьмая	164
К истории перевода и текста романа	186
Примечания	190

